

Далия
Трускиновская



Кровавый
жемчуг

Государевы конюхи

Даля Трускиновская

Кровавый жемчуг

«Снежный Ком»

2001

Трускиновская Д. М.

Кровавый жемчуг / Д. М. Трускиновская — «Снежный Ком»,
2001 — (Государевы конюхи)

Москва, XVII век. В стрелецкой слободе у деда Саввatea Моркова украли медвежью харю, что резал он из дерева. Думали на младших дедовых внучат, Матюшку с Егоркой, да в их добре харю не нашли. А через время государевы конюхи Данилка и Тимофей Озорной, проезжая через подмосковный лес, увидели приколоченную к дереву медвежью харю. А когда пошли они туда, куда смотрела эта харя, нашли на полянке тело купца Терентия Горбова, убитого ножом в спину.

© Трускиновская Д. М., 2001

© Снежный Ком, 2001

Далия Трускиновская

Кровавый жемчуг

Кому – воскресное утро, а кому – тяжкие труды...

Так заведено, что в воскресный и в праздничный день семейство нужно баловать. Если в будни – щи да каша с ветчиной или с толченым салом, то в праздничек изволь выставить на стол пироги, если, конечно, ты не какая-нибудь безрукая.

Исключительно заботясь о том, чтобы выглядеть не хуже прочих слободских женок, Наталья с раннего утра затеяла печь подовые пироги с бараниной. А могла и не спешить – муженек посапывал, похрапывал, постанывал за крашенинной занавеской, отделявшей супружеское ложе. Муженек накануне был у кого-то в гостях, перебрал, еле дошел до дому, и были основания полагать, что лишь ближе к обеду он начнет понемногу обретать человеческий образ.

Все бабы так делали – как хлебы печь, так сразу после них пироги в печь сажали. Хлебное тесто ставят с вечера, утром только размеси, пока печь топится, ковриг налепи, крестов на них ножом наставь – да и возись себе с пирогами, пока хлебы не поспеют.

Тесто Наталья завела из четырех лопаток хорошей, крупитчатой муки. Растопила две гривенки говяжьего сала, вылила в горячую воду и туда же – муку, старательно размешала, вбила десяток яиц. Пироги получались дорогие, да сытные, и как им сытными не быть, если их, уже испекиши, ставишь в латку с жиром и возвращаешь в печь, чтобы на вольном духу они еще подошли?

Стенька просыпаться не собирался, а коли бы и собрался – уж Наталья знала, что ему, непутевому, ответить.

Для женщины, на которой весь дом и все хозяйство, вышивание да искусная стряпня – вроде развлечения, сидишь ведь, пальчиками шевелишь и красиво получается! Потому лепила Наталья пироги неспешно, красиво защипывая. Делала поменьше, чем следовало бы. Правильный пирог, четырех вершков в длину да двух – в ширину весит фунт, а у нее не так много баранины было припасено, не рассчитала, и красивее было бы подать на стол побольше маленьких пирожков, чем всего пять-шесть правильных. Тем более что была у нее еще одна тайная мыслишка.

Стеньку за крашенинной занавеской вкусный запах еще не тревожил. Наталья пекла не в домашней печи, а в огородной. По государеву указу летом в домах огонь разводить возбранялось, и почти все имели либо особо устроенные поварни-пристройки, либо печи, наполовину врытые в землю где-нибудь на огороде, причем в заветренном месте.

Пожелав ненаглядному проспаться до обеда, а лучше бы до ужина, встала Наталья от стола, где занималась тонкой своей работой, смазала пироги квасом и поставила их на расстойку. Потом выбежала из дому, вытянула из печи горячую ковригу, потыкала в нее лучиной. Вроде коврига пропеклась. Тогда Наталья вынула все четыре, принесла их домой и положила отдыхать на столе под полотенцем, а пироги поместила в печь и осталась хозяйничать на дворе – собрать свежие яички, покормить кур, обиходить с раннего утра подоенную корову Пеструху. Корова выглядела понурой, и Наталья не стала выгонять ее спозаранку в слободское стадо. Потом она вынесла миску тюри псу, плеснула в плошку молока для кота, села на лавку и задумалась.

Недавно ей рассказали, как по-настоящему готовят котлому, и Наталья соображала: мука в хозяйстве есть, патока – дело недорогое, но десять гривенок коровьего масла и два с половиной десятка яиц – это уже много! И печиво получается не плотное, не сытное, а легкое, с воздушными прослойками, мужика таким не накормишь, а бабе полакомиться – в самый раз.

А то еще можно завести подовый пирог с сахаром, но для него требуется сорочинское белое пшено и тоже невероятное количество яиц... И на пирог с сыром... Да что за притча такая – что ни затей испечь, все яйца да яйца!

Пока пироги на огороде в печи доходили, Наталья высыпала на доску пол-лопатки муки, вбила три яйца и стала готовить впрок лапшу. Лапша – такое дело, что хранится. Ну как удастся дешево зайца купить – а она уже и есть!

Тонко раскатав лапшу и оставив на столе, чтобы заветрилась, Наталья пошла на огород и стала вытаскивать пироги. Они были удивительно хороши собой – ровненькие, с румяной блестящей корочкой, один в один! Принеся их в дом и разложив на столе, она покосилась на занавеску – переводить ли такое добро на беспутного мужа? Пироги вышли на изумление, и если ни перед кем такими не похвалиться – душа болеть будет.

Заглянув за крашенину и убедившись, что муж просыпаться не собирается, Наталья взяла ветхую холстинку, увязала в узелок четыре самых красивых пирога, надела красивую синюю однорядку и выскользнула из дому, и побежала огородами к любимой подружке – стрелецкой женке Домне Патрикеевой.

На полдороге они и встретились – Наталья с Домной. И обе взволновались – не приключилось ли беды?

– А я к тебе! – чуть ли не хором воскликнули они.

– А что стряслось?

– А у тебя что стряслось?

– А что с утра бежишь, как ошпаренная?

– А ты что бежишь?

– А я к тебе!

– Так и я к тебе!

И подружки одновременно предъявили почти одинаковые узелки.

– Пироги с сыром у меня удались! – похвасталась Домна. – Возьми к завтраку.

– Так и у меня пироги! С баранинкой! Тебе же и несу!

Подружки рассмеялись.

И чем больше смеялись, тем смешнее и приятнее им делалось. А чего ж неприятного? Стоят солнечным, уже почти летним утром на тропинке, среди молодых, еще не в полную меру лист выгнавших лопухов и разудалых солнечных одуванчиков, две молодые и миловидные бабы, радуются тому, какие они славные хозяйки и верные подружки, – плохо, что ли?

И разом они хохот свой прекратили.

– Что это там у Морковых за галдеж? – спросила Домна. – С утра-то пораньше!

– А сбегает, поглядим! Может, дед у них?...

Морковскому деду было столько лет, что он в Смутные времена ратником служил и поляков из Москвы изгонял. Теперь же жил на покое, но доставлял немало хлопот – мог уйти в церковь и заблудиться, а искали всей слободой и находили довольно далеко от дома, как-то к самой Яузе забрел. Если бы он и отдал Богу душу, ничего удивительного бы в том не было.

И надо же – пока Наталья возилась по хозяйству, шумела и гремела, муженек не просыпался. А как надумала добежать с гостинцем до подружки, а потом с ней вместе – до Морковых, тут его словно черт пощекотал.

Продрать глаза с ходу не получилось. Стенька пробурчал как бы сквозь сон «о-хо-хо...» в надежде привлечь к себе внимание. Но некому было ядовито осведомиться о здоровье. Он закрхтел погромче – и с тем же успехом.

Когда Стенька окончательно осознал, что жена куда-то увялась и поднести рассольцу прямо к постели некому, Наталья, услышав диковинную новость, уже торопилась домой. С Домной она рассталась там же, где и встретилась, и, заранее костеря своего непутевого, побежала к родному крылечку.

– Стой! – крикнула Домна. – Пирогами-то не поменялись!

Она догнала Наталью, забрала ее узелок, а свой – вручила.

– Да ну тебя, поменялись же! – воскликнула Наталья. – Перед тем, как к Морковым бежать!

– Да что ты?

Узелки из ветхой холстинки были одинаковы, и подружки принялись их обнюхивать: пироги-то с бараниной не так пахнут, как с сыром.

– Да вот же твои, свет! А вот – мои!

Наталья хотела было сказать, что не стоит Стенька душистых Домниных пирогов, что лакомствами его баловать – только добро зря переводить, да удержалась.

– Как в церковь пойдете – за мной загляните, – попросила. – Моего-то сегодня туда не доведешь, вчера погулял...

– А дело житейское, – утешила ее Домна. – И с моим бывает!

– Твой-то в лавке сидит, каждый день алтынов по пяти приносит, а мой-то больше двух алтынов и трех денег отродясь не приносил!

Сказала это Наталья не совсем справедливо. Все-таки Стенька и за службу в Земском приказе рублей по семи в год имел, и кормовые – по четыре деньги на день, а что удастся перехватить – все домой нес. Так ведь и Домне Патрикеевой не всегда Масленица, случается и Великий пост. То муж-стрелец в лавке сидит, торгует, а то его на войну зовут и по полгода видом не видать и слыхом не слыхать. Тем более что теперь как раз где-то далеко продолжается война...

А справедливой она быть старалась, даже по отношению к Стеньке... И потому, взбегая по крылечку, уже совсем было решила поделить с ним Домнины пироги поровну.

– Мука смертная!.. – сообщил жене измученный сухотой в горле Стенька, не открывая глаз и не в силах пошевелинуть хоть единым членом. – Помираю! А тебя черти где-то носят! Погоди, вот встану – плетку-то возьму...

– Щас исцелю!

Наталья, как если бы не слышала угрозы, встала на цыпочки и припрятала пироги на полке, что тянулась вдоль всей стены над окошком, сунула узелок за кувшины и за крынки.

– Так помираю ж! – возвысил голос Степка.

– А и невелика потеря!

Имелось в виду – кабы кто меня, рабу Божию Наталью, от тебя, дармоеда и пьянюшки, избавил, я бы недолго во вдовах засиделась. Так нет же! Живешь! Не помираешь!

– Ох, встану, доберусь!.. – пригрозил Степка.

Во рту было мерзостно и пакостно. А злобредная Наталья не торопилась отпаивать мужа рассолом. Рассол – это искать ковшик, идти в сени, где стоят бочата с капустой, огурцами, клюквой, брусникой и прочим припасом, нести ковш, заботливо вливать его содержимое в мужний рот, стараясь при сем не залить постель... Самому встать, что ли? А – как?...

Наталья потрогала остывающие ковриги и осталась довольна. Хлеб вроде, с Божьей помощью, удался.

– Ишь, государева служба... – проворчала она.

На сей раз имелось в виду, что дела-то сделано на грош, а выпито на десять рублей! Небольшие деньги дал хлебный пристав, что в соответствии с покойного еще государя указом шастал по торжищам Кремля и Китай-города, проверяя, хороши ли хлебы ситные и решетные, калачи тертые да мягкие коврижечные, да нужного ли веса, и за те денежки трое земских ярыжек навели его таки на некоторых подлецов, веса не соблюдавших и на том наживавшихся.

С одного подлеца пристав слупил полуполтину, для первого раза, а с прочих – уже по целой полтине, да пригрозил, что коли еще раз попадутся, уже двумя рублями и то не отделаются. Потом хлебный пристав отметил такое дело с подьячими Земского приказа, а ярыжек к

столу не позвали, вот они сами себе пирование и устроили, полученное пропили, да еще своих денег добавили...

Видя, что помощи от жены никакой, Стенька мучительно собрался с силами и, стараясь раньше времени не выпрастывать из-под одеяла ноги, спустил их кое-как на пол. Затем потянул носом – пахло гречневой кашей и пирогами!

Это значило, что жена не бездельничала, а все же о нем, о венчанном муже, заботилась. Ну и о себе заодно...

Стенька прошлепал в сенцы и там отпился рассолом вволю. В голове прояснело. Он осознал даже необходимость ополоснуть заспанную и помятую рожу. На сей предмет в комнате висел хороший медный рукомой о двух хоботах, а под ним стоял на лавочке таз. Качнешь рукомой – он тебе и отольет из хобота воды в ладошку. Как раз рожу посерединке смочить хватит. Тут же на гвозде и полотенце с расшитыми красной ниткой краями. Очень удобно вытереться. Тем более что для воскресного дня жена и полотенце сменила...

Ну на что ни глянешь – все тебе живой упрек! Она-то, бедная, в лепешку расшибается, а он-то, шпынь ненадобный, только и знает, что пить, жрать да одежду грязнить!

– Звал, звал... Где тебя только носило?... – не чая ответа, спросил Стенька, вставая в торце стола, лицом к образам, и уж собравшись прочитать молитву.

Душа же его уже порхала над горшком, в котором прела каша с толченым салом. Каша Наталье всегда удавалась. И при всей зловредности нрава на еду она не скупилась. Обычно Стеньке это нравилось – такая и детей выкормит дородных, не хуже боярских. Хотя уж который год с венчанья пошел, а ходит праздная. Не заладилось что-то у них двоих это дело.

Паче чаяния жена ответила:

– А к Морковым бегала. Ты спал без задних ног, шуму не слышал. А у них покража.

– Покража? – Божественные мысли разом вылетели из Стенькиной головы. – Какая?

– Деда их обокрали. Кто-то, знать, высмотрел, куда он свое добро прячет.

В Стенькиной голове мигом выстроилась лесенка, ведущая от пропажи в морковском хозяйстве к хорошему местечку в приказе, чтобы уж не земским ярыжкой целый день по торговым рядам в дождь и в мороз ноги бить, а сидеть в тепле, решая судьбы и принимая подношения. Вон Петька Власов помог купцу Колесникову вора словить – и где же Петька? В приказной избе! Морковы же – семья зажиточная, и с дьяками и с приходским батюшкой дружбу водит.

Вот Стенька, не позавтракав, и кинулся к дверям. И даже не заметил, с какой ехидной улыбкой Наталья ему вслед поглядела, и даже не подивился, чего это она не прикрикнула...

Он поспешил к соседям, пока кто другой его не опередил. Ведь ежели крупная покража – сразу в Земский приказ челобитную потащат, а там уж кто-то другой, не земский ярыжка Степан Аксентьев, а подьячий Деревнин, или Протасьев, или Колесников, или кто иной рвение окажет и богатого подарка дождется. Стеньке же за то, что приказания выполнял и для подьячего по этому делу ходил, в лучшем случае два алтына и три деньги перепадут – выше этого он еще не поднимался.

Не до пушистых лопухов и развеселых одуванчиков было ему, когда он несся той же тропкой, что и Наталья (которая, усмехаясь, ела сейчас первый из припрятанных пирогов). Земский ярыжка торопился пристегнуться к делу!

– Что у вас уволокли-то? – спросил он, входя на двор, откуда уже расходились все вызвавшие соседки и кумушки.

– Да вон у деда! Медвежью харю! – вразнойбой ответили ему.

– Какую такую харю? – грозно спросил Степка.

Дед, Савватей Морков, вцепившись в локоть осанистой снохи, а снохе уж за пятый десяток перемахнуло, ковылял Степке навстречу.

– Степа, голубь, ты ли?...

Дед сделался за последнее время странно подслеповат. Вон Стенькин дед отлично видел за три версты, а у себя под носом – никак. Савватей же Морков, наоборот, за две сажени видел только туманные пятна разного цвета, зато на столе перед собой, когда сидел, в молитвослове самые мелкие букочки разбирал.

– Я, дедушка! Что стряслось-то? – И Стенька изготвился запоминать.

– Пристыди хоть ты подлецов! – взмолился дед. – Сил моих нет! Ведь это Матюшка с Егоркой спрятали, вот те крест, Матюшка с Егоркой! Пороли их мало!

– Что спрятали, дедушка? – нагнулся к нему Стенька.

– Да харю же! Я их знаю, это они мне пакости строят!

– Тьфу! Какая еще харя? Скоморох ты, что ли, чтоб хари дома держать?

– С Благовещенья резал, с самого Благовещенья! – жалостно сообщил дед. – Как живая выходила! Не прибрал, оставил, вот они и покусились! Ироды! И слова им поперек не скажи!

Сноха, Алена Кирилловна, поняла по возмущенной Стенькиной роже, что не грех и вмешаться.

– Батюшка из дерева ради баловства медвежью харю резал, – негромко, зная дедову глухоту, сказала она. – Утром глядь – и нет ее. Только это не Матюшка с Егоркой. Я их знаю – они в сараюшке свое добро прячут. Мы сразу туда заглянули – там нет.

– А велика ли харя? – уже догадываясь, что сработали происки жены Натальи, спросил Стенька.

– Чуток поболее медвежьей будет... – начала было Алена, но дед пожелал растолковать сам и принялся, бормоча, разводить руки вширь и ввысь. Получалось, что харя была как здоровая бадья.

– Да Господь с тобой, дед, таких и медведей-то не бывает! – воскликнул разочарованный Стенька.

– А тебе-то та харя на что сдалась? – наконец догадалась спросить Алена Кирилловна. – Или посоветуешь в Земский приказ челобитную писать?

Не в меру догадлива оказалась баба!

– На что сдалась? А вижу – у соседей переполох, так мало ли что? – Стенька даже очень выразительно пожал плечами. – Я в приказе не последний человек, глядишь, и пригодился бы!

Что правда, то правда – были там ярыжки и помоложе Стеньки, на которых он свысока покрикивал...

Махнув рукой на странную и совершенно для него бесполезную покражу, Стенька отправился домой, сесть наконец за стол и позавтракать.

Наталья встретила его как ни в чем не бывало. Ведь знала же, чертовка, что дело выеденного яйца не стоит! Знала же, какова пропажа! Так нет же, допустила, чтоб муж понесся огородами, босиком, позориться перед честными людьми!

Встав, как и было задумано, в торце стола, Стенька прочитал молитву, благословил непочатый горшок-кашник, и они, друг другу худого слова не говоря, оба сели завтракать.

– Забор починить надо, – сказала Наталья, доев кашу. – Не забор, а одно горе. В дыры медведь пролезет.

Стенька покосился на жену. Намекает на утреннее, что ли? Но Наталье было не до шуток. Она перечислила, где в хозяйстве нужна мужняя рука.

– Да побойся бога! Воскресный день, а ты про хозяйство! – рассердился в конце концов Стенька.

– А ждать, пока все само развалится? – спросила Наталья. – Скамью вон починить надо, не то прямо под тобой и ахнет. Бочонок с капустой опорожнился – сволок бы обруча перетянуть, коли сам не умеешь.

– Что ты мне про бочонок! У меня дела поважнее найдутся!

Хотя день был и воскресный, но Стенька сговорился с отцом Кондратом об уроке.

– Знаю я твои дела! Вся слобода за животики хватается? Меня уж бабы спрашивали – чай, батька Кондрат твоего-то розгами потчует? Розги-то, говорят, ума прибавляют – глядишь, и поумнеет!

Стенька на эту глупость не ответил, но вздохнул – близился час наитягчайших трудов.

В дом к отцу Кондрату шел он, как тать на плаху, – медленно и ниже плеч буйну голову повесив... Грамота давалась тяжело, и с чтением бы еще полбеды, а вот орудовать пером Стенька не мог, вместо красивых завитков получалось нечто столь корявое, что попадья, матушка Ненила, заглянув как-то через плечо, заохала:

– О-хо-хонюшки, горемычный ты мой! Ну – как курица лапой!..

А ведь для подьячего почерк – первое дело. Ну, еще ум, но насчет своего ума Стенька не сомневался, опять же – ум глубоко в башке упрятан, а почерк-то – на виду...

Батюшка встретил его весело.

– Был вчера на Спасском мосту в книжных лавках, – сообщил он ученику. – Гляди, чего приобрел!

– Что это? – с тоской спросил Стенька, глядя на небольшую, зато здорово пузатую книжку.

– Мелетия Смотрицкого «Грамматика».

Судя по тому, что книжка была припасена и выложена на стол как раз к Стенькиному приходу, предполагалось, очевидно, что земский ярыжка всю ее должен усвоить.

– На что она? – с недоверием спросил Стенька. – Я же и буквы, и слоги знаю!

Батюшка Кондрат откинул твердую обложку и, взяв труд Смотрицкого в обе руки, весомо зачитал:

– «Что есть грамматика? Есть известное художество, благо глаголати и писати обучающее». Понял, чадо? Не криво, как ты мне карябаешь, а благо! Вздумал быть подьячим? Ну так терпи!

Стенька поднял на батюшку глаза, и тот поразился отчаянному взору. С таким взором, пожалуй, можно бы и саблей рубиться, и на медведя с рогатиной выходить, подумал миролюбивый батюшка, а он, подлец, вон куда свою удаль направил!

– Бумагу клади ровнее! – приказал он. – Разлилуй помельче! Хватит тебе буквы рисовать, как в больших святцах! С сего дня писать будешь мелко.

* * *

– Приведи Голована! – велел Озорной. – Оседлай как полагается! А я погляжу!

Вроде и по пустяковому делу послали их двоих, Тимофея с Данилкой, однако мороки вышло много.

Оказалось, что конюшенная жизнь парня избаловала. В седле-то он держался, да и трудно было найти на Москве человека, который не умел бы ездить верхом. Даже пожилые боярыни, коли приходилось волей-неволей выезжать из дому в распутицу, садились на иноходцев. Для них-то и мастерили шорники особые седла – как высоко вознесенные креслица с подножками-приступочками, креслица эти обшивали бархатом и утыкивали позолоченными гвоздиками.

Но боярыня-то часа два-три на иноходце помается и отдыхает, а Данилка, впервые проведя полтора часа в седле, еле и с коня соскочил.

Это сперва развеселило, а потом, когда промеж ног у ездока обнаружались потертые места, от которых ходят враскоряку, и разозлило конюхов. Причем из всей тройцы, которая дошла до подьячего Бухвостова и настояла, чтобы Данилку учить конюшенному ремеслу как полагается, больше ярости проявили Тимофей Озорной и Богдан Желвак. Тихий и малозамет-

ный Семейка Амосов только тогда вмешивался, когда видел – гордость на гордость и норы на норы, как коса на камень.

Обнаружив, что парень, столько времени прожив при конях, не умеет ездить, Богдан Желвак с Тимофеем Озорным принялись его жестоко школить.

– Стадным конюхом быть хочешь? Жалованье получать хочешь? Вот и терпи!

Пока жили на Аргамачьих конюшнях, им это не больно удавалось. Но на лето государь со всей семьей выехал в Коломенское. Семейка почему-то остался в Кремле, а Богдаш и Тимофей последовали за государем при любимых его аргамаках. Поскольку летом водогрейный очаг топить было незачем, то и Данилку они исхитрились с собой потащить – ведомо же всем, что красная цена подьячему Бухвостову – пять алтын, невеликие эти деньги собрали для него вкладчину, вот он и вписал парня куда следовало.

Дорога была недалняя – до Троице-Сергия и обратно, свезти из Коломенского государю грамоту да назад вернуться. День пути туда и день – обратно. И то так много потому, что не с утра выехали.

Собирали Данилку в дорогу всем обществом. Вспомнили заодно, что будущему конюху требуется целое приданое...

– Шпоры тебе пока без надобности, – рассудил Богдан Желвак. – Прежде всего, нужна будет нагайка. Видел, как я свою вожу? На рукояти петля, и на мизинец правой руки вешаю. А на большой палец – петельку от поводьев. Мало ли что, сидя в седле, делать придется – так чтобы повода не упускать. Бывает, в такое дело посылают, что шуму подымать нельзя. Тогда на левом боку саадак с луком, справа – колчан со стрелами. Там же, справа, должен быть кистень-навязень. Ну, лук тебе при нужде выдадут, а нагайку и кистень сами изготовим.

– Я тебя уж научу из кожаных шнурков плести, – пообещал дед Акишев. – Еще хорошо иметь с собой сулицы.

– Что это – сулицы? – не понял Данилка.

– Копьецо такое коротенькое, аршина в полтора.

– Нет, товарищи мои, уж что ему следует первым делом купить да постоянно при себе иметь, так это персидский джид, – неожиданно сказал Озорной.

– У тебя-то у самого есть ли?

– Подвернется – за любые деньги куплю.

– Баловство это при нашем ремесле, – возразил Богдаш. – Вот в джиде у тебя три джериды. Научился ты их метать – хорошо! Но коли по дороге у тебя засада, раскидал ты свои джериды – где новых взять? Один джид и останется, таскай его на поясе хоть до скончанья века!

И они сцепились спорить о достоинствах персидского джида сравнительно с простым русским кистенем-навязнем. Но переубедить Тимофея было невозможно. Он и на вид казался упрямым, каких поискать, – невысокий, крепко сбитый, с таким угрюмым взором из-под черных кустистых бровей, что куда там налетчику-душегубцу с большой дороги!

– Ты Богдашку не слушай. Джид с джеридами нужно тебе в Гостином дворе, в саадачном ряду поискать, – сказал Тимофей. – Там не только шлемы с кольчугами, там всякого оружия полно, и турецкого, и персидского, и всякого иного заморского.

Вдруг Богдаш расхохотался.

– Тимофей, расскажи-ка добрым людям, что ты там на Егория Победоносца покупал!

– Ослиную челюсть, – кратко отвечал Тимофей.

– Это – оружие?! – Данилка ушам не поверил.

– Конская – да, а ослиная – она из Святого Писания, – объяснил Озорной. – Батюшка читал, как Самсон ослиной челюстью филистимлян бил. Я ходил в саадачный ряд, искал джид, а заодно и хороший засапожник, мне такого понавалили! Я и спроси – а ослиной челюсти не найдется ли? Сперва сиделец не понял, потом так заругался – товар, мол, я понапрасну порочу!

– И что же? – заранее зная ответ, спросил Данилка.

Он мог биться об заклад, что дерзкий и не понимающий шуток сиделец получил правым Тимофеевым кулаком в свое левое ухо.

– Плюнул да и ушел.

Это показалось странно, но раз Тимофей не желал хвастаться подвигами, то и Бог с ним, решил Данилка. Он уже как-то задал товарищу лишний вопрос да и получил такой суровый ответ, что зарекся проявлять любопытство.

– Потому-то и не держат купцы джидов, что мало кому они нужны! – продолжил прерванную было склоку Богдаш.

– Ты из лука-то стрелять умеешь? – Дед Акишев говорил внятно, чтобы перекричать уже орущих во всю глотку товарищей. – Я тебя научу по-татарски – чтобы и вперед, и назад. Теперь ведь у каждого либо пищаль, либо пистоль, а татары и по сей день на государеву службу с луками и стрелами являются. Пока стрелец пищаль один раз перезарядит – лучник десять стрел выпустит. И знаешь, чего еще не бывало?

Он засмеялся, смешно морща личико, подрагивая негустой серебряной бородкой.

– Такого не бывало, чтобы лучник стрелу выпустил да и лук выбросил! А в схватке, когда каждый миг дорог, выстрелишь из пистолы – и хоть наземь бросай, потому что противник времени перезарядить не дает. Вот вам-то, молодежи, пистолы подавай, а по старинке-то надежнее выйдет!

Еле угомонились советчики, вспомнив, что сегодня на Троицкой дороге ни лук, ни персидский джид, ни даже нагайка Данилке, скорее всего, не понадобятся. Хотя там, бывает, шалют налетчики, но, во-первых, зимой многих похватали, к чему и сам Данилка невольно руку приложил, а во-вторых – им, налетчикам, не двое конных нужны, а неторопливый обоз телег в десяток.

От Коломенского до Троице-Сергия добрались без приключений. Государеву грамоту отдали, под благословение к игумену подошли, побеседовали с иноками, охочими до новостей, а тут и ночь наступила.

Переночевали Тимофей и Данилка в приюте для богомольцев. Рано утром отстояли заутреню (на Озорного время от времени нападало благочестие, отчего приключались всякие недоразумения – как-то раз Великим постом конюх перестарался по части недоедания, отошал и ослабел настолько, что не сумел удержать жеребца, тот прорвался наружу и чуть было не выскочил за ограду Аргамачьих конюшен), да и собрались в дорогу. Коней по летнему времени отправили в ночное вместе с монастырским табуном. И вот настала для Данилки мука мученическая – ловить и седлать вредного Голована.

Это был конек неказистый, ногойский бахмат, невысокий, поразительно гривастый, вороной без единой отметины, со скверным норовом. Прозвание он получил за крупную лобастую башку. А славился своей неутомимостью. Голована и еще с дюжину бахматов держали как раз для скорой и опасной гоньбы, когда мало надежды, что в придорожном яме удастся сменить лошадей, да и бывали обстоятельства, что государевы конюхи с важным поручением попросту объезжали ямы за три версты.

Поскольку от безделья кони начинали дуреть, то конюхи пользовались всяким случаем, чтобы их как следует проездить. Не так чтоб далеко, не так, чтоб скоро, однако довести до утомления.

Вот как получилось, что Данилке для езды к Троице-Сергию дали под верх этого сата-наила.

Была и еще причина. Голован числился в тугоуздых, так что испортить ему рот Данилка при всем желании уже не мог. А хорошей, чуткой к поводу лошади – запросто!

Тимофей остался поговорить о божественном с чернецом братом Кукшей – были они хоть и дальними, а родственниками. Данилка же отправился за конем в одиночку.

Монастырский табун пасся в ложбинке. Данилка с недоуздом побрел к караульщикам, чтобы указали, где именно бродит Голован.

– А он вон там, с краю, – объяснили Данилке. – Обойди кругом, поверху, сразу его увидишь. Наш вожак его прогнал. И второй ваш конь, каурый, тут же.

– За вторым пусть Тимофей сам идет, – отвечал Данилка. – Мне бы с этим чертом управиться!

И ведь как в воду глядел!

Голован позволил себя взнуздать и даже довольно покорно пошел следом, но возле бурьянных зарослей чуть ли не с Данилку вышиной и вышла неприятность. Что-то такое, дорогое лошадиному сердцу, он разглядел сверху, да и ломанулся вбок.

Данилка уперся, потом и вовсе повис на недоуздке, но сильный бахмат проволоком его сквозь те заросли, как тряпицу. Да и чуть не уронил наземь, резко опустив голову.

– Блядин сын! – в отчаянии сказал ему Данилка. – Песья лодыга! Ну, что? Чем эта трава лучше той?

Конь преспокойно щипал травку, которая, видать, и впрямь была лучше – в ней виднелись белые головки кашки и лиловатые – дятловины.

И ведь лакомился он не потому, что проголодался – всю ночь брюхо свое толстое набивал! – а чтобы показать неопытному всаднику, кто тут главный. Это злобное желание читалось в его огромных и хитрых глазищах, а уж ухмылка у него, когда он поднял наконец башку, была поязвительнее человеческой.

Данилка взял его за недоуздок и потащил. На сей раз бахмат не безобразничал – свой норов показал, и ладно.

– Хорош! – сказал, увидев их двоих, Тимофей Озорной. – Репьи-то с себя оберни! Тебе, гляжу, и рубахи с портками не надо, повалялся по репейнику – и одет!

– Знатные у нас репы растут! – добавил брат Кукша. – Ты, свет, аки Адам, что, изгнан из рая, листвию срам прикрывал!

Тогда лишь Данилка обозрел сверху вниз свою грудь, живот и ноги.

Ткани не было видно под серым клочковатым слоем репьев...

– Дай-ка узду! – велел Озорной. – Сейчас я его уму-разуму поучу!

Затеяв разбирательство с конем, он не доверил Данилке даже взнуздать и оседлать Голована, все сделал сам, а потом вскочил в седло.

– Коли к моему приезду не отчистишься, такой и поедешь!

Он послал бахмата вперед и резко взял на себя повод. Конь вскинулся.

– Ага! Не нравится! – крикнул Тимофей. – А теперь давай, козли!

Был Тимофей Озорной невысок, да словно из железа скован, и тяжестью своей умел управлять удивительно. Неудача ждала того коня, который вздумал бы под ним козлить. Голован понял это сразу и смирился. Должно быть, и раньше были между ними подобные стычки.

Доехав до табуна, Тимофей взял там своего Лихого и вернулся к Данилке.

Тот уж умаялся вытаскивать из холстины колючки. Вроде и невелики крючочки у репьев, однако сквозь одежду кусаются – будь здоров!

– Данила, лягушка тебя заклюй! – возмутился Тимофей. – Уж точно, что у тебя чердак без верху, одного стропильца нет! С брюха обираешь, а с гузна? Сидеть ты на репьях, что ли, собрался?

Данилка завел назад руку, пощупал и понял, что старший товарищ прав.

– Да будет тебе лаяться, – сказал брат Кукша. – Зайди, свет, за кусты, сними портки! На ощупь-то проку мало!

Так Данилка и сделал.

Выехали они часом позже, чем собирались. И по дороге Тимофей то и дело поминал Данилкины репы.

– До Троицы и назад – раз плюнуть, а мы с тобой тащимся, как вошь по шубе! – ворчал он, когда дорога позволяла обоим ехать рядом. – Гонцы государевы! Старая баба нас обгонит!

Собственно говоря, не один Данилка был в этом повинен, а еще и погода. Накануне шли дожди, и именно эта часть дороги настолько раскисла, что пускать коней машистой рысью или наметом было опасно – поскользнувшись, и конь через голову перевернется, и всаднику достанется. Вот и ехали грунью, а это ненамного быстрее простого шага.

– А не спрямить ли? – посоветовал Данилка.

– Куда тебе спрямить? И так дорога – словно стрела.

– Неужто никак нельзя? И тропинки в лесу посуше!

– А налетчики?

– Нешто они в такое время промышляют? – удивился парень.

– В утреннее-то? – Тимофей задумчиво поглядел на небо, определил положение солнца и решил: – Ин ладно, будь по-твоему! Знаю я тут одну дорожку. Кое-где придется, правда, наобум Лазаря ехать, ну да выберемся. Ясный день все же, любое дерево путь подскажет.

– Дерево? – Данилка вылупил круглые черные глазищи.

– Не знаешь? Мхом-то ствол больше с севера обрастает, а нам к югу править надо. Вот и не заблудимся.

Вскоре они свернули с наезженного пути и, сверяясь с солнцем, двинулись тропами.

Данилка впервые в жизни ехал лесом, и все ему было в диковинку. Он, сколько мог (а главным образом – сколько позволял Голован), вертелся в седле, задирает голову, пытаясь разглядеть вершины деревьев, и каждый птичий крик его озадачивал. Он не разбирал этих голосов и признал лишь сороку, которая затрещала совсем близко.

– Предупреждает кого-то, – бросил ему через плечо Тимофей. – Эх, зря я тебя послушался!

Пытаясь понять, где засела вредная птица, Данилка, в который уж раз, поднял голову.

Глаза в глаза из листвы смотрел на него медведь.

Парень ахнул, невольно рванул на себя повод и окаменел. Но зверь не трогался с места. Так и замер, глядя на Данилку внимательно и строго.

Данилка перевел дух.

– Ишь ты! Харя! – восхищенно сказал он. – Кто ж тебя, харя ты медвежья, к дереву-то привязал?

И точно – искусной резьбы морда была прилажена к стволу, чуть ли не врублена в него, на такой высоте, чтобы конному и то голову малость задрать, на нее глядя.

– Ты с кем это беседуешь? – крикнул успевший отъехать довольно далеко Тимофей. – Догоняй живо!

Данилка повернулся на голос и увидел за ветвями лишь рыжеватое впрожелт пятнышко – круп Лихого. Зеленый выгоревший зипун Озорного словно растворился в листве.

– Скачи сюда, Тимоша! Тут такое диво! – позвал товарища Данилка.

Недовольный Тимофей подъехал, увидел медвежью харю и почесал в затылке.

– Зачем это, Тимош?

– Зачем? – Тимофей огляделся по сторонам. – Ага... Глядит та харя на восход... Почти... Знак это какой-то, Данила. Может, тут клад поблизости зарыт. Разбойники-то свое добро под землю прячут и знаки оставляют. Поедем-ка прочь. Недосуг нам клады искать.

– На восток, говоришь? – Данилка повернул голову так, чтобы смотреть примерно оттуда же, откуда и медвежья харя. – Гляди – просвет меж деревьев! Только в этом месте он такой и есть!

– И что же?

– Давай поедem, поглядим!

– Ты сдурел? – строго спросил Тимофей. – И так из-за твоих репьев сколько провалялись!

Данилка настолько был увлечен своей затеей, что направил Голована в просвет меж деревьев.

Тимофеевы строгости его не больно пугали. Озорной был громогласен, грозен, суров, строг, да незлобив. Вот Желвак – другое дело. В Желваке порой удивительное злоехидство прорезалось, так словом припечатает – только держись... Желвака Данилка побаивался.

В полусотне шагов оказалась поляна. И всем бы она была хороша, и цветами богата, и, надо полагать, земляничкой, да только встал Голован и головой мотнул, что, очевидно, означало – не пойду, и не проси!

– Ты чего там учуял, подлец? – спросил его Данилка.

Конь попятился.

Глазастый парень стал внимательно оглядывать поляну и увидел в зелени сероватую проплешину. Недоумевая, что бы это такое могло быть, он направил к проплешине Голована, однако именно она-то и не понравилась бахмату.

– Кончай дурью маяться! – заорал издали Озорной. – Кой черт тебя, обалдуя, туда тащит? Оставлю вот одного в лесу – выбирайся, как знаешь!

– У меня Голован дурит! – крикнул в ответ Данилка. – Встал – и ни с места.

– погоди! Сейчас я его поучу, да и тебе достанется!

Тимофей на Лихом подъехал и посмотрел туда, куда показал пальцем Данилка.

– Гляди-ка, и Лихому тут не по себе. Ну-ка, поглядим...

Он соскочил с коня, отдал поводья Данилке и, выше колена в траве, зашагал к сероватой проплешине.

– Ну, ясное дело! Покойник тут!

– Кто?

– Да покойник же! Лежит спиной кверху. В спину ножом и ударили. Попробуй только слезть! Упустишь коней – на тебе верхом до самого Коломенского поскачу!

– Что делать будем, Тимоша? – спросил совсем растерянный Данилка.

Озорной, не отвечая, присел на корточки и попытался заглянуть мертвому в лицо. Вдруг он решительно взял тело за плечо и приподнял.

– Господи Иисусе! Да это ж Терентий Горбов!

– Знакомец?

– Знакомец...

Тимофей бережно опустил тело и выпрямился.

– Тут его оставлять негоже. Зверье обгрызет. А как везти – ума не приложу. Завернуть же не во что!

– А коли зверье еще не тронуло – стало быть, его совсем недавно?...

– Выходит, что так.

Тимофей постоял над мертвецом еще немного, ворча, что везти его, ни во что не запеленутого – и срам, и грех, и поругание...

– Да нам бы его из чащобы вытащить! – сказал наконец Данилка. – А там уж я его постерегу, а ты доедешь до ближнего двора, купишь какую-нибудь рогожу.

– Так-то, свет Терентий Афанасьевич, – горестно обратился Озорной к мертвецу. – Ел-пил ты с серебра, дорогие кафтаны нашивал, дворни у тебя сорок человек, а теперь вот грошовой рогожки нет... Так-то вот и живем, и помираем...

– Так это не простой человек? – удивился Данилка.

– Купец, – подтвердил Тимофей. – И кой черт его сюда занес? Ну, делать нечего. Держи, Данила, Лихого покрепче, а я тело-то поперек перекину. Докуда-нибудь довезем, а там уж найдем телегу.

Он опустился на колено и перевернул мертвеца на спину. Судя по всему, конюху не впервой было управляться с бездыханным телом. Он это тело, взяв одной правой за обе руки, усадил, потом левой подпер ему плечи, поднырнул широким плечом под неживую грудь, перехватил поудобнее – да и выпрямился со своим страшным грузом.

Данилка помог перетащить покойника на конскую холку. Тот свесился, как длинный куль зерна. Тимофей, вскочив в седло, одной рукой взялся за поводья, другой – за пояс убитого купца.

– Поехали, – сказал он. – Не надо бы его брать, теперь Разбойный приказ хуже твоих репьев прицепится, да и оставлять негоже, не чужой.

Волей-неволей пришлось выезжать на дорогу. И тут конюхам повезло – повстречали мужика на порожней телеге. Направлялся тот мужик как раз в сторону Москвы. Сговорились на алтыне и двух деньгах, причем у мужика еще и большая рогожа нашлась – завернуть тело, и за рогожу он особо еще две деньги взял. Потому что после мертвого тела в нее уж ничего и не завернешь...

Растолковав, куда везти груз и кому с рук на руки сдать, Тимофей расспросил еще, откуда мужик едет, кто таков, выпытал имя и прозвание.

– Теперь он знает, что я до него добраться могу, – объяснил Озорной Данилке, когда они уже всю скакали к Москве. – Это чтобы он тело в кустах не свалил. А теперь волей-неволей до горбовского двора довезет.

И вздохнул тяжко.

Вздох этот объяснялся не только сожалением о безвременно погибшем знакомце. Данилка уж довольно прожил на Москве, чтобы знать – всякий, отыскавший нечаянно мертвое тело, пусть даже споткнувшись об него, должен опроретью бежать прочь. Кроме разве что стрелецкого караула или земского ярыжки... Для простоты следствия нередко хватали тех, кого удалось поймать возле тела, и им-то в первую очередь предъявляли обвинение. Потому-то так много покойников и поднимали по весне, когда Москва высвобождалась из-под сугробов...

Взявшись хлопотать о мертвом знакомце, Тимофей взваливал себе на плечи немалую ношу. Однако ему было легче, чем прочим. Во-первых, нашли тело вдвоем. Во-вторых, оба – люди служилые, наехали на покойника, исполняя государеву службу. И за спиной конюха в таких неприятных случаях незримо стоял Приказ тайных дел с упрямым дьяком Дементием Башмаковым, который уже раз отказался выдать Данилку на расправу Разбойному приказу. Судя по тому, что больше парня не трогали, слово Башмакова против слова подьячих и дьяков Разбойного приказа имело немалый вес.

Было и еще кое-что. Горбовы, купцы не из последних, не оставили бы в беде человека, который вывез из лесу тело их брата, дав им возможность и отпеть его как подобает, и похоронить по-христиански, и всячески позаботиться о покинувшей мир без покаяния душе.

Чтобы добраться до Коломенского и доложить, что грамота доставлена, следовало проехать через всю Москву. По летнему времени это было даже приятно – улицы сухие, из-за многих заборов виднеются верхушки садовых деревьев и звенят девичьи голоса, да и тепло, ни ноги в стремях, ни уши не мерзнут. Опять же – в холод девицы проносятся, глядя лишь под ноги, а летним днем сами охотно посматривают на мимоезжих всадников. А о девицах Данилка задумывался все чаще...

Многие конюхи имели жен и детей, но именно те трое, что взялись его школить, Богдан, Тимофей и Семейка, уж как-то обходились без баб. Семейке было проще – он жил в доме брата, где о нем было кому позаботиться. Тимофей тоже имел какую-то богатую женским полом родню, в грязном и драном не хаживал. А вот Богдасу – тому, как и Данилке, приходилось тяжко, вечно с кем-то сговаривался о стирке, шитье и кормежке. Но даже дед Акишев, всем и каждому безнаказанно объяснявший, как жить на свете, Желвака не трогал и жениться ему не советовал.

Данилке дед сказал, что сам ему скоро невесту высмотрит, и это радовало. Да покуда высмотрит – изведешься, пожалуй!

Думая об этом приятном деле, о женитьбе, и не больно огорчаясь смерти купца, которого знать не знал, впервые в лесу и увидел, Данилка ехал за Озорным, держась на расстоянии не менее двух саженей – Лихой мог ни с того ни с сего и взбрыкнуть, тем более – у них с Голованом уже были какие-то лошадиные несогласия. Голован, проделав путь от Троице-Сергия до Москвы, несколько притих и позволял всаднику тарашиться по сторонам. И Данилка, довольный, что может развлечься, даже не думал, почему Озорной выбирает те, а не иные улицы.

Жил Терентий Горбов на Мясницкой, у самых Мясницких ворот, которые после того, как год назад рядом была выстроена церковь Флора и Лавра, государь приказал звать Флоровскими. Но имечко что-то не приживалось.

О том, что Тимофей решил посетить родных покойника и сам сообщить им нерадостную весть, Данилка догадался, когда Озорной остановил Лихого перед запертыми воротами и раза два несильно бухнул в них пудовым кулаком.

Мужик, выглянувший сверху, конюха признал.

– Не ко времени, брат, – сказал он. – У нас тут Терентьева Ефросиньица бабье дело исправляет... Прости – не до тебя.

– Уж точно, что не ко времени, – согласился Тимофей. – Однако вызови мне ну хоть Федора Афанасьевича, коли он тут. Или Кузьму Афанасьевича. Дело есть важное.

– Ни того и ни другого нет.

– Ну так пошли за ними кого!

– Что же ты их в лавках поискать не хочешь? Они оба каждый в своих сидят.

– А то и не хочу, что незачем нам в тех местах появляться, – отвечал, проявляя осторожность, Озорной. – Мы-то, чай, по государеву делу посланы и должны немедля в Коломенское быть. А коли нас неподалеку от Кремля, возле Гостиного двора, знакомцы приметят да подъячим нашим донесут? Ни к чему это.

– Да что за дело-то к ним?

– Говорю же – важное! – раздраженно отвечал Тимофей.

И Данилка понимал – нужно, не тратя зря времени, подготовить родных к прибытию телеги с трупом, а дворовый мужик, вконец обленившись, не хочет даже голоса поднять – крикнуть кого-то из парнишек, послать за хозяйским братом.

И тут Озорному с Данилкой повезло.

Со стороны Лубянки показались трое конных. Они приближались неспешной рысцой, а Тимофей привстал в стремях, взгляделся – да и замахал рукой.

– Слава те Господи! Они! Федор с Кузьмой!

– С Федотом! – поправил дворовый мужик и исчез – спустился отворить высокую калитку, которая как раз была удобна для всадника. Вот коли бы сани или колымага – не миновать распахивать тяжелые ворота...

Тимофей послал коня навстречу купцам.

– Гляди ты! Как родинный стол, так и ты в гости жаловать изволишь! – воскликнул старший из братьев, Федор Афанасьевич.

По летнему времени купец одет был вольно, лишь в алой рубахе и синей расстегнутой однорядке со многими петлицами, в желтых остроносых сапожках.

– Не с добром я, Федор Афанасьевич, – сразу показав, что не до веселья, отвечал Тимофей. – Не хочу посреди улицы говорить.

– Терешка? – хором спросили братья.

Озорной кивнул.

Очевидно, тут уже ждали дурной вести. Старший Горбов помолчал, шумно вздохнул, помотал крупной головой.

– М-м-м... О-ох... – негромко простонал он, направил коня к открытой калитке и махнул рукой – мол, все сюда.

За ним въехали Озорной с Данилкой, Федот и молодой парень, сопровождавший братьев. Дворовый мужик тут же захлопнул калитку, заложил засов и принял поводья хозяйского коня. Тимофей, спешившись, отдал поводья Данилке и еще показал рукой – мол, так и оставайся, долго тут не пробудем.

– Что с братом? – встав напротив конюха, строго и скорбно спросил Федор Афанасьевич.

– Я телегу нанял, его привезти. К вечеру, я чай, будет.

– Жив? – В глазах самого младшего, Федота, была надежда.

– Был бы жив, – хмуро отвечал Тимофей. – Кабы по лесам не слонялся...

Услышав это, Данилка даже рот приоткрыл. И точно – покойник-то сам туда, на поляну, пришел! Если бы его на дороге ножом в спину закололи, то в придорожных кустах бы и бросили! Какого же черта его так далеко оттащили?

И таскать мертвое тело – радость невелика, на руки только дорогого покойника возьмут, а такого, что собственноручно прирезан, – волоком, волоком... А трава там была непримятая! Словно бы вошел, раздвигая высокие травы, Терентий Горбов на поляну, встал посередке – да и рухнул...

Пока он об этом думал, Тимофей то же самое коротко рассказал – мол, обнаружили случайно на поляне.

– Да как же?... – чуть не плача, непонятно о чем спросил младший брат.

Тимофей, очевидно, понял вопрос по-своему.

– Вот, – Озорной указал на Данилку. – Кабы не он – лежать бы Терентию Афанасьевичу в том лесу и лежать! А его словно ангел Господень вел – вот нужно ему на ту поляну, хоть ты тресни! И привел его ангел, и указал...

Федор Афанасьевич повернулся к Данилке и в пояс ему поклонился.

– За то, что брата моего единокровного, любимого нашел и вывез!

И Озорной дважды кивнул – мол, мудрые и нужные слова сказаны.

Данилка не нашелся что ответить. То – кой черт тебя, обалдуя, туда тащит, а то – ангел Господень! Ловок Озорной!

Федот как ни крепился, как ни кусал себе губы, а заплакал. И тут же из-за дома послышались бабьи крики. Мужчины резко повернулись.

Вылетела заполошная девка в одной подпоясанной рубахе, пролетела мимо и кинулась к дворовому мужику, охранявшему изнутри калитку.

– Провушка, беги на торг, зови наших всех! Ефросиньице Бог сыночка послал!

– Не ори, дура, – хмуро сказал девке Федор Афанасьевич.

Она повернулась и ахнула, поднеся ко рту сжатые кулачки.

– Вот так-то, – купец повернулся к Тимофею. – И родиться не успел, а уж сирота... Пойдем к нам в крестовую палату, помолимся.

– Сирота?... – еще не понимая смысла этого слова, тупо повторила девка. – Кто сирота-то, Господи?...

– Пошла вон, – беззлобно, однако твердо прогнал девку Федор Афанасьевич, и она понеслась обратно – к той стоявшей на задворках бане, где наконец-то разрешилась от бремени Терентьева жена.

Данилка глядел, глядел ей вслед – да и принялся кусать себе губы, как незадолго перед тем Федот. Острая жалость к младенцу, чьего отца убили злодеи, убили предательски – ножом в спину, перешибла все разумные мысли, а оставила одну неразумную, и внятно прозвучала в Данилкиной голове та мысль: найду и своими руками прикончу!

– Прости, Федор Афанасьевич, не могу – служба! – сказал Тимофей. – Я мужику-то, что Терентия везет, уплатил.

– Сколько?

– Три алтына и деньгу.

Купец достал кошель, захватил там сколько получилось.

– Подставляй горсть-то, служба.

Тимофей принял деньги не глядя, достал из-за пазухи свой кошель и пересыпал туда монеты.

– Мы в Разбойный приказ сами наведаемся, пусть там у нас сказку отберут. Не то соседушки твои донесут, что Терентия из лесу убитого привезли, – ввек не отделаешься. Данила! Сопли утри.

Тимофей вскочил в седло, дворовый мужик отворил калитку.

– На отпеванье приезжайте, – сказал купец, и Данилка поразился его каменному спокойствию.

Он еще не знал, что у иных людей от внезапного сильного горя лишь несколько замедляется речь...

Конюхи направились к Кремлю.

– А и нет худа без добра, – вдруг сказал Озорной. – На отпевание-то из Коломенского, поди, отпустят! В Москве побываешь, на похороны сходишь, угостишься на поминках, а утром – и назад в Коломенское.

Данилка вздохнул.

Почему-то Тимофей менее всего на свете думал про несчастную бабу, которая овдовела, рожавши. Где-то она там была в баньке вместе с новорожденным младенцем – ну и Бог с ней... А его мороз по коже подирал, стоило подумать, как ей, измученной, чуть живой, такую новость сообщат. И снова приходилось губы кусать.

После отцовской смерти да всех тягостей конюшенной жизни с ним впервые такое делалось.

В Кремль въехали по привычке Боровицкими воротами, да сразу и на конюшню – оставить коней. Сейчас весь тот край Кремля был тих. Государь, увезя с собой в Коломенское все семейство, прихватил и поваров с пекарями, и баб-мовниц, и весь тот люд, что кормился, обеспечивая ему с немалой свитой еду-питье, тепло в теремах, чистые постели и все прочее, необходимое для жизни. На Ивановской площади тоже нет прежней суеты – многие откладывают тяжбы до государева возвращения. Возле здания, где разместились приказы, нет обычной толпы, и это отрадно.

– Скоро разделаемся, – заметил Тимофей.

В Разбойном приказе по летнему времени было затишье. Да еще и час почти вечерний. Тимофей и Данилка вошли.

Из всех подьячих был один – давний знакомец Илья Матвеевич Евтихеев, который чуть было не собрался Данилку на дыбу вздернуть, да спасибо, дьяк Башмаков отбил. Очевидно, у подьячего накопилось работы – он строчил, не поднимая головы и, пока не кончил длинного предложения, даже не полюбопытствовал – кто там торчит у дверей.

– Бог в помощь, – сказал наконец Озорной. – Мы, стряпчий конюх государев Тимошка Озорной да конюшонок Данилка Менжиков, на мертвое тело в лесу набрали.

– И где же то тело? – тусклым голосом спросил подьячий, быстро лепя одну букровку за другой.

– Свезли к нему на двор, к покойнику то есть. Я его узнал, это черной сотни купец Терентий Горбов, их там еще три брата, Федор, старший, и Федот с Кузьмой. Купцы денежные, в Гостином дворе и на Красной площади лавки держат.

Тимофей объяснил это затем, чтобы подьячий знал: таких людей лучше понапрасну не задевать, себе дороже встанет. И тот, кто отыскал в лесу тело и знал, куда с ним дальше напра-

виться, вряд ли злодей-убийца, убийцы своих мертвецов к родне в телегах не возят. Как бы ни хотелось Евтихееву признать за убийц тех, кто нашел тело, на сей раз у него это не получится.

Подьячий был не дурак – сообразил, что цепляться к Тимофею бесполезно. Он дописал строку и, поскольку чернила в перо были уже на самом исходе, сунул свое орудие привычным движением за ухо.

– Ты, что ли, стряпчий конюх Тимошка Озорной? Ты? – казенным голосом уточнил Илья Матвеевич, подняв крупную, почти что львиную голову. – А ты Данилка Менжиков?

– Они самые, – подтвердил Тимофей.

Данилка бестрепетно выдержал взгляд. Евтихеев его признал, и потому никакой любви в том взгляде не наблюдалось...

– Стало быть, сказку я у вас отобрать должен о том, как на мертвое тело наехали? – Подьячий вынул из-за уха перо, макнул его в чернильницу, дал стечь большой синей капле и изготовился записывать.

– Дали нам государеву грамотку свезти к Троице-Сергию, игумну, – весомо произнес Тимофей. – И мы ее отвезли, и там переночевали, и отстояли заутреню, а на обратном пути захотели для скорости спрямить дорогу и поехали лесом. Дорога-то там после дождя гнилая, а тропы в лесу куда как посуше.

Данилка в глубине души усмехнулся – хоть и пугал Тимофей, что расскажет про его сражение с репьями, однако не выдал!

– Где свернули? – спросил подьячий.

– А бес его знает... – Тимофей задумался. – До Пушкина еще не доехали. В Пушкине я хотел в Никольскую церковь зайти. Раз уж такой душеспасительный поход вышел.

– А Хотьково проехали?

– Хотьково проехали.

Подьячий что-то записал.

– И спрямили вы путь?...

– И увидели на дереве медвежью харю.

– Какую еще харю? – в голосе подьячего наконец-то прорезалось что-то человеческое. Он даже руку с пером отвел в сторону и опустил.

– Медвежью, как живая, из дерева резанную. Наверно, веревками примотана, – тут Тимофей повернулся к Данилке. – Данила, ты не заметил? Вербки были?

Парень помотал головой.

– А та харя глядела на поляну, и на поляне мы нашли мертвое тело.

– И это все?

– Все, поди...

– Мало, – твердо сказал подьячий.

– А ты спрашивай! – потребовал Тимофей. – Откуда мы знаем, что тебе полагается выяснять! Ты по-умному спроси – мы, как на духу, и ответим.

Тут дверь распахнулась. Вошел подьячий Земского приказа Гаврила Деревнин, а за ним земский ярыжка Стенька Аксентьев тащил на горбу лубяной, бедно расписанный короб, из тех, что приказные покупали за казенные деньги для хранения столбцов.

– Вот, Илья Матвеевич, сколько взяли, столько и возвращаем, – сказал Деревнин. – Все столбцы с нашими сверены. Из тех налетчиков, которые у тебя в розыске числятся, четверо наших, по нашим столбцам проходят. Надобно полагать, они-то на Москве краденое и сбывают. Кто прав-то оказался?

– Я, что ли, не говорил, что давно пора столбцы сличить? – огрызнулся Евтихеев. – Вот так-то и бывает, когда два приказа одними и теми же ворами занимаются! И кто ж таковы?

Деревнин протянул исписанный лист.

– Нарочно для тебя в обеденное время трудился. Поставь короб, Степа! Да бережнее!

Стенька опустился на корточки и дал коробу сползти прямо к стенке. После чего встал, очень недовольный. Как искать всякие разбойные имена по трехсаженным столбцам, так «мы», а как содеянным похвалиться, так «я»!

– Вон оно что... – протянул Евтихеев и сунул лист под свиток столбцов. – Ну, благодарствую! Степа, ты короб-то левее передвинь, мы туда еще один поставим.

Стенька принялся пихать короб.

– Стало быть, харя глядела на поляну? И вы пошли, куда она глядела, и там было тело? На поляне? – вроде бы благодушно повторил сказанное подьячий и вдруг взвился: – Стало быть, с неба оно туда упало! Никаких следов, трава не примята, ни тебе копыт, ни тележной колеи, а тело с облака рухнуло!

– Вот то-то и оно, – согласился Тимофей. – Мы и сами удивились. Этот Терентий сам, своей волей на поляну пришел. А уж кому это понадобилось и за что его закололи – мы знать не можем.

Тут Озорной приосанился и заговорил отчетливо, все возвышая и возвышая голос:

– Мы – людишки государевы, государеву службу исполняем, для скорости дорогу спрямили! И для чего лесным налетчикам людей на поляны заманивать и ножом в спину убивать, нам неведомо! А ведомы такие дела Разбойному приказу! И потому мы, верные слуги государевы, сюда пришли! А коли бы на Москве беда струсилась – вон к нему бы пришли!

Последние слова конюх, указав на Деревнина, чуть ли не выпел мощным дьяконским басом.

– Нишкни, окстись! – разом замахали на него Евтихеев и Деревнин. – От твоей глотки окна вылетят!

Тимофей с неохотой умолк.

– И что мне с такой сказкой делать? – спросил Евтихеев Деревнина. – Явились, праведники! Ничего не видели, ничего не слышали, только тело подобрали! Может, мне теперь ту харю спрашивать, у нее сказку отбирать?

– Какую харю, батюшка Илья Матвеевич? – удивился Деревнин.

– Они, лесом едучи, деревянную медвежью харю на дереве нашли. Поехали, куда она глядела, и тут им мертвое тело явилось. Купца Терентия Горбова тело! Где харя – сами не ведают, меж Хотьковым и Пушкиным. А мне – разгребай!

– Да уж... – посочувствовал Деревнин, понимая, что вести розыск по делу об убийстве, имея такие скудные сведения, невозможно.

Стенька же, честно пихавший свой короб, замер, вспоминая.

Медвежья харя, медвежья харя... Да куда ж она там, в голове, завалилась?...

– Пойдем, Степа, – велел Деревнин. – У меня для тебя еще дельце есть.

И так вышло, что лишь у самой двери встретились взглядами Стенька и Данилка.

Стенька признал парня, из-за которого в присутствии важных чинов опозорился. Ну, не так чтобы он один, но хитрый Деревнин сумел все на него свести. Парень уже смотрел не таким странноватым оборванцем, и это было Стеньке обидно – ишь ведь, сопляк, а в люди выбился!

А Данилка узнал непонятно с чего обезумевшего земского ярыжку. Хотя тот был не в служебном кафтане, зеленом с буквами «земля» и «юс», а в одной холщовой рубахе.

Они не поздоровались, даже друг другу не кивнули – с чего бы вдруг? Век бы оба друг дружку не встречали!

Спускаясь с крыльца, Стенька все вспомнил.

– Гаврила Михайлович! Дельце есть!

– Какое? – повернулся к нему Деревнин.

– Там про деревянную медвежью харю толковали, что к дереву привязана.

– Ну?

– Так сосед у нас есть, Савватеем Морковым кличут, он по весне резал такую харю для потехи, и у него ее украли!

– Украли? Кому же это она понадобилась?

– А тому, поди-ка, кто ее потом к дереву привязал!

Подьячий хмыкнул.

– Полагаешь, лесные налетчики у деда харю унесли и для своих дел использовали? Может, ты еще понимаешь, для чего им ту харю к дереву привязывать?

– Знак. Примета, – наугад брякнул земский ярыжка.

– Примета?...

Тут лишь Деревнин остановился и повернулся к Стеньке.

– Ты, чай, ту харю искать пробовал?

– Да зачем? Баловство одно.

– А попробуй! Ты вон в последние дни вместе со мной вертишься, как белка в колесе...

И это было правдой. Когда дьяки Земского приказа додумались, что неплохо бы сверить свидетельские сказки и судные списки обоих приказов, Земского и Разбойного, как раз Стенькина новоявленная грамотность и пригодилась!

Смысл этого был такой: Земский приказ ведал всеми преступлениями в самой Москве, а Разбойный – за ее пределами. Но где сказано, что лихой человек, живя, к примеру, в Ростокине, будет проказить исключительно на Москве или исключительно вне Москвы? Он, подлец, всюду поспеет! И очень может быть, что по делу Земского приказа проходит и уже малой кровью отделался человек, которого отчаянно ищет Разбойный приказ. Или же наоборот.

За последние дни Стенька столько всяких мерзостей выслушал и прочитал – голова пухла. Брали из Разбойного приказа короб за коробом, а сколько в каждом столбцов, одному Богу ведомо. Заодно перебрали их, свили потуже, а порченные мышами предъявили отдельно, добавив при этом, что в Земском-то приказе сам Котофей служит, а в Разбойном прикормить хорошего мышелова то ли пожадничали, то ли поленились.

Деревнин устал поменьше, не ему же короба таскать, но и Гавриле Михайловичу досталось. Но даже к концу трудового дня ясности мышления он не утратил.

Коли удалось бы дознаться, кто стянул харю и привязал ее к дереву, то можно было бы оказать услугу Илье Матвеевичу, потребовав с него какой-либо ответной услуги. И еще – Деревнин не раз слыхивал прозвание Горбовых. Коли предложить Горбовым свои услуги по розыску убийцы, то они, пожалуй, не поспеют...

– ...вертишься, как белка в колесе, жена, чай, забыла, каков с виду. Ступай-ка ты, Степа, домой пораньше, да загляни к тому своему соседу, порасспрашивай. Может, и сообразишь, кому та харя понадобилась. Узнай, для чего или для кого он ее резал, как пропала, все узнай!

Стенька в знак благодарности поклонился и поспешил домой.

Наталья и впрямь его почти не видела. То есть являлся он довольно поздно вечером, на вопросы отвечал невнятно, а однажды вызверился – работа-де срочная, велено подьячих веревками к скамьям-де привязывать, пока не справятся, а мелкие чины одно слышат: «Батохов возжелалось?» Поскольку батоги были делом житейским, а о привязывании подьячих слухи по Москве ходили, Наталья от мужа и отцепилась. Только утром выкидывала ему на стол миски с едой – подавись, мол, постылый!

Явившись в неурочное время, Стенька жены дома не застал и даже несколько тому обрадовался. Он заглянул в печь, нашел еще теплый горшок шей, похлебал прямо из горшка и огородами поспешил к Морковым.

У Морковых зачем-то собрались люди – Стенька увидел на дворе привязанных коней, телегу, кобылой запряженную, а цепной кобель сидел на укороченной веревке и, видать, уже утомился от непрерывного лая. На Стеньку он брехнул так, что земский ярыжка услышал в том брехе живой и внятный человеческий голос:

– Еще и тебя нелегкая принесла!

Он взошел на крыльцо, стукнул дважды в дверь, ему не ответили, он постучал еще и вошел незванный, хотя и о себе предупредивший.

В горнице он обнаружил накрытый стол, за которым чинно сидело морковское семейство, мужики по одну сторону, бабы – по другую.

Старший дедов сын, Ждан, матерый мужик, дослуживавший в стрельцах остатние годы, поднялся ему навстречу.

– Хлеб да соль, люди хорошие! – пожелал Стенька, ища глазами деда Савватея.

– Хлеба кушать! – как положено хозяйке, пригласила Алена Кирилловна.

– Заходи, Степан Иванович, – позвал и Ждан Савватеевич Морков. – Что ж ты так-то, не по-соседски? На похороны тебя не докличешься, девять дней без тебя справляем.

– А кто помер-то? – уже предчувствуя беду, спросил Стенька.

– Да батя наш и помер... – Ждан Савватеевич достойно вздохнул.

– Дедушка Савватей, что ли? – очень даже глупо осведомился Стенька.

– Другого бати у нас нет, – отвечал Морков-старший. – Не было, то есть... Вот, похоронили.

– Царствие ему небесное, – сказал, крестясь, Стенька, да таким обреченным голосом, как если бы с дедом все свои надежды на будущее похоронил.

– Да ты присядь, Степан Иванович, – предложила жена Ждана, старшая дедова невестка, Алена Кирилловна, которую после смерти дедовой жены считали в хозяйстве большухой, главной хозяйкой, и перед ней во всех домашних делах отчет держали.

Стенька сел на лавку. Все, все рухнуло!

– Как же это он, а? – спросил в полном отчаянии земский ярыжка. – Как же?...

– Да не огорчайся ты, соседко, – произнесла нараспев Алена Кирилловна. – Всякого бы так до самой смерти дети досмотрели, как мы дедушку Савватея Осиповича! Нас с тобой бы так досмотрели! И лет уж ему было немало. Сколько, Жданушка?

– Мне уж полвека, – сказав это, хозяин пустился в мучительные внутренние вычисления. – Восьмой десяток – уж точно!

– И нам бы до восьмого десятка дожить! – пожелала себе и всем присутствующим хозяйка.

Очевидно, вся жизнь и похороны деда стали на время семейной гордостью и должны были сделаться предметом соседской зависти.

– Дай Бог не меньше, – согласился Стенька. – А ведь я к вам по дельцу...

И с надеждой обвел взором все лица – Ждана, Василия, Герасима, Ивана и самого младшего – Бориса, а также бабы – Алены, Марфы, Анны, другой Анны и Вассы, младшей из невесток.

– А что за дельце? – спросил Ждан Савватеевич.

– Да дельце-то с виду пустяшное, но важности немалой, – Стенька приосанился, помолчал и, когда увидел, что все слушают его очень внимательно, продолжал: – Помните ли, как по весне у Савватея Осиповича медвежью харю своровали?

– Какую еще харю? – Хозяин в немалом изумлении повернулся к супруге. – Алена! Это что за бредни?

– А я откуда знаю? – Алена сперва уставилась на Стеньку непонимающими глазами, потом же догадалась. – А и точно! Он, царствие ему небесное, ты же знаешь, любил с деревом ковыряться! Тебя не было, ты тогда в Суздаль уезжал, а он и точно медвежью харю резал, и ее совсем уж готовую украли!

– Деревянную? – уточнил Ждан Савватеевич.

– Деревянную, – подтвердила Васса. – И на моих же парнишек напраслину возвели! Будто бы они, Егорка с Матюшкой, утащили! А зачем им тащить? Дед для них-то, поди, и резал!

– Куда им такую здоровенную? – возразила Алена Кирилловна. – Так ты что же, Степан Иванович, ради этой хари в дом, где покойника поминают, заявился?

– Хорош сосед! – поддержал возмущенную бабу Герасим Савватеевич.

И все пятеро братьев так на Стеньку набычились, что хоть хватай шапку да и выметайся за дверь!

– Да Господь с вами! – воскликнул не на шутку перепуганный Стенька.

Все-таки мужики Морковы были здоровенные, недаром всей семьей в стрельцах служили и в Тимофея Полтева полку на хорошем счету были. Как выйдут, бывало, все пятеро, в рудо-желтых кафтанах с зеленым подбоем, в островерхих сочного вишневого цвета шапках, в зеленых сапожках, и пищали у них на плечах игрушечными смотрятся, так и поглядеть радостно!

– Соседушка! – презрительно сказал Ждан Савватеевич. – Женку бы спросил – она-то, я видел, нашим бабам поминки готовить помогала.

– Да мое дело какое? Я человек подневольный! Велели пойти расспросить – я и пошел! – вовремя вспомнил о своей службе Стенька. – Мне подьячий Деревнин, не отобрав сказки о медвежьей харе, и возвращаться не велел!

– Так на кой вам там, в приказе, та харя сдалась?!?

Стенька развел руками – мол, сам не знаю, а начальством велено отобрать сказку! И все вопросы – к ополоумевшему начальству, которое до того уж зажралось, что насчет деревянных медвежьих харь разведывать гонит!

Ждан Морков обвел взором семейство, которому теперь был за старшего.

– Ну, ладно уж, черт с тобой. Спрашивай! – выразил он общее мнение.

– Стало быть, так, – приступил к делу Стенька. – Велено узнать, для чего Савватей Осипович ту харю резал. Для своей ли утехи или с кем срядился? Может, ему за ту харю заплатить обещали?

Семейство разом поглядело на старшую невестку деда, которая одна лишь и умела с ним договориться.

– Да кто ж его знает, с кем он срядился? – удивилась Алена Кирилловна. – Да и кому такой товар нужен? Скоморохам разве! Для ребятишек, поди, и резал.

– Скоморохи по Москве похаживают, – согласился Стенька. – К вам не заглядывали?

– Они теперь открыто не промышляют. Если где и играют, так на богатых дворах, потаенно. А то сам не знаешь! – сказал Ждан Савватеевич.

– Знать-то знаю, а ну как это скоморохи с Савватеем Осиповичем сговорились?

– Да коли и так – как бы мы их от простых людей отличили? – разумно спросил Василий Савватеевич. – Они, чай, по делам ходючи, в обычное платье одеваются и пакляной бороды не привешивают.

– А когда Савватей Осипович ту харю резать начал? – зашел с другого конца Стенька. – Весной, поди?

– Весной ли?

Семейство посовещалось и вспомнило – вроде на Благовещенье. Искал какой-то чурбачок в сарае, потом незнамо откуда принес. И Алена Кирилловна подтвердила – когда харю украли, тоже все Благовещенье поминал.

– Так это когда было! – воскликнул Ждан. – Коли кто и приходил, и сряжался с батей, так теперь и не вспомнить!

– А не являлся ли кто за готовой харей? Ведь коли дед с кем-то уговаривался, тот человек должен был прийти – расплатиться да товар забрать!

– Ты сперва докажи, что он и впрямь подрядился за деньги ту харю резать! – одернул земского ярыжку Герасим Савватеевич. – Мало ли что затеял? Он и ковш в хозяйство резать начал, и полку, все неоконченное лежит.

– Ваган мне обещал, – добавила Анна-старшая. – На доске-то рыбу для тельного рубить неудобно, а ваган – в самый раз. И ведь на торг не пустил, обижался, говорил – сам вырежу, сам!..

– Стало быть, так... – Стеньке нужно было выдержать достоинство служилого человека, и он сделал для этого все возможное. – Коли кто за харей явится, пошлите за мной парнишку. А сами расспросите, кто таков, откуда, задержите, коли сможете.

– Степан Иваныч! – воззвал к нему благоразумный Ждан Морков. – Да ты сам посуди – начал батя резать на Благовещенье, на Кирилла и Мефодия харя почитай что готова была. А сейчас у нас что?

– Преподобная Макрина! – сразу подсказала Алена Кирилловна.

– Батя знал, что на работу немногим более месяца уйдет, коли сряжался, то на такой срок. Либо тот человек проведал, что харю своровали, и потому не пришел, либо такого человека и вовсе на свете нет! Так своему подьячему и донеси!

– Вот и вся тебе сказка! – весомо добавил Василий Савватеевич.

Тут-то Стенька и призадумался.

Можно было... Нет, нужно было остаться, посидеть с осиротевшим семейством, иначе некрасиво получалось, не по-соседски. Но и тратить время на такое сидение совершенно не хотелось. Ну, кто он тому покойному деду? Раз в год, поди, и виделись...

Стенька остался и честно отсидел сколько-то, ведя чинную беседу о городских новостях. Вскоре Новый год праздновать – первого сентября, так приготовиться надо. И в государевом семействе скоро радость, царица ходит непраздная, об этом все знают. Хорошо бы царевича родила. А вслед за Новым годом – тезоименитство маленькой царевны Софьи Алексеевны, которой всего-то годик исполнится. Тоже – праздник, и народ угощать будут.

Разговор такой был для Стеньки повинностью и тяжким наказанием. Как и сами праздники, впрочем. Слободским-то что! Принарядятся, в церковь сходят и будут веселиться! Кроме тех стрельцов, чьи полки назначены в те дни ходить караулами по городу. А Земский приказ весь, в полном составе, трудиться обязан, мало ли какое воровство? Тати поганые только праздника с его беспечностью и ждут, чтобы распоясаться да поживиться!

А у земских ярыжек еще и особая повинность. Как соберется государь куда ехать, на богомолье ли, в подмосковную ли выезжает, пока поезд тащится через Москву, возглавляет его не боярин какой-нибудь, а Стенька с товарищами. Вот только в руках у них не булавы, не шестоперы, а метлы с лопатами, и они дорогу государевым коням очищают...

Побыв за столом сколько надо, Стенька засобирался. Уходить, ничего не разведав, было неприятно. Однако вновь допекать взрослых и скорбных людей дурацкой харей...

И тут Стеньку осенило!

Он вспомнил, что тогда, в то поганое утро, помчавшись босиком расследовать дурацкую покражу, он услышал от покойника и от Алены Кирилловны нечто важное. И это было... это было...

В покраже обвинили младших дедовых внучат, Егорку с Матюшкой!

Тогда в их детском имуществе хари не нашли и обвинение с них сняли. Но дед был свято убежден, что это их рук дело. Почему – только он один и знал. И теперь уж не спросишь...

Но они, видать, знали, что дед резал харю, что дело близилось к концу, знали и то, где харя лежала. Видимо, они даже имели возможность утащить ее незаметно – ведь Алена Кирилловна утверждала только, что в их ребячем имуществе пропажи не обнаружено, а если бы их невинность подтверждалась еще чем-то – она бы наверняка и другие доводы привела.

Младшие внучата, сыновья Бориса и Вассы Морковых, были погодки, то ли семи и восьми, то ли восьми и девяти лет, это только бабы знают. Старшие-то, которые от Ждана с Аленой, уже в стрельцах служили, а эти в семействе были самыми младшенькими, других детишек их лет на дворе не водилось, и парнишки сдружились – не разлей вода! За ними мно-

гие проказы числились – привязывание тряпок к кошачьим хвостам, воровство яиц у соседских кур, самым жестоким было наливание густого дегтя в чеботы злоехидной бабки Акулины Чурюкиной – и как только к ней в избу забрались? Ничего удивительного, что дед обвинял этих разбойников в покраже, и не было...

Лето было самым детским временем. Осенью, зимой и весной насидишься на печи, обувки имея одну пару на двоих, а летом обувка не купленная, тепло, мать сама была рада, когда парнишки целый день в ногах не путаются и на печи не шебуршат. Но в итоге каждый раз имела она счастье несказанное – вычесывать репы и только что не сучья из кудлатых, светло-золотистых волос такой густоты, что не одна боярышня бы иззавидовалась.

Еще внучата были до того схожи, что странно было – как их родная мать не путает.

Стенька сам в этом убедился, когда обнаружил разбойных братцев возле лошадей. Один подсаживал другого, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы Стенька сурово не окликнул их и не поспешил к парнишкам.

Обоих уже давно пора было стричь – удивительно даже, как они еще что-то видели из-под спадавших ниже бровей неровных прядок. Поставив их перед собой, Стенька несколько времени, качая головой, смотрел на две макушки, одну – в пуху от какой-то травы, другую – с прицепившейся очищенной веточкой от смородины. Похоже, внучата только что выбрались с соседского огорода.

– Не стыдно? – спросил земский ярыжка. – Старшие на минутку отвернулись, а вы уже невесть что творите!

Ответа не было. Очевидно, к поучениям Матюшка с Егоркой давно привыкли.

– Хотите покататься на лошади – так прямо и скажите. Пусть кто-то старший в седло посадит, научит, как повод держать.

– Научит, как же... – буркнул в ответ внучонок, но старший или младший – Стенька не знал.

– Ничего, подрастете – успеете наездиться! – пообещал Стенька. – А я, так и быть, никому не скажу, как вы коня со двора свести пытались. И так на вас, горемык, всех дохлых собак вешают.

Парнишки переглянулись – в голосе соседа было совершенно непривычное для них сочувствие.

– Ага, вешают... – согласились на два голоса внучата.

– Вот когда у деда медвежью харю выкрали, тоже ведь вас все поминали, я помню. А вы тут были вовсе ни при чем, – продолжал подлаживаться Стенька. – Я слушал, диву давался. И еще понять не мог, а с чего дед взялся медвежью харю резать? Ведь не ковш, не ложка, а что-то вовсе непотребное – харя!

Пареньки переглянулись. Что-то они, видать, знали.

– Ведь не вас же тешить?

– Не-е! – хором отвечали разбойные внучата.

– Кабы нас – он бы ее тайно резал, – объяснил парнишка. – Вон лошадиную башку для палки – мы и не знали, когда успел.

– Что еще за башка для палки?

– Верхом гоняться!

И парнишка показал, как это делается. Занес ногу и перекинул ее через воображаемую палку, увенчанную конской башкой, левой взялся за воздух впереди себя, придерживая незримого аргамака, а правой – взмахнул столь же незримой плетью, гикнул и понесся вприпрыжку по двору.

– Стой, стой! – заорал вслед Стенька.

Не имея своих детей и давно выйдя из беспштанного возраста, он напрочь позабыл, как положено скакать верхом на палке. Парнишка сделал круг и вернулся, по виду – совершенно счастливый.

Стенька посмотрел на дедовых внучат в превеликом недоумении. Тут и от взрослого свидетеля-то порой толку не добьешься, а с этими – вспотеешь, говоривши! Однако выхода не было – шустрые пареньки могли высмотреть что-то такое, чего старшие не заметили.

– Так, может, кто к нему приходил? Сговаривался? Старшие-то своими делами заняты, а вы весь день дома. По зимнему-то времени, поди, на двор бежите, когда уж невтерпеж?

– Ага! – согласились внучата.

– Стало быть, коли кто к деду приходил – должны были видеть!

– А он не в горнице резал, а в подклете! – сообщил то ли Матюшка, то ли Егорка. – Туда со двора войти можно.

– Мамка в горнице не велит, стружек много, а в подклете у нас тепло.

– И что – разве не хотелось поглядеть, как дед режет?

– А чего там глядеть! – высокомерно молвил второй внучонок. – Режет да поет, режет да поет...

– А что поет-то? – словно о живом, спросил Стенька.

– Да все духовное...

– В подклете, значит. И там ту медвежью харю держал?

– Да там, поди.

– И как же ее унесли из подклета? – Стенька задал свой вопрос, да сам и задумался. И точно – чужой туда коли и забрался бы, то не харю, а чего позначительнее уволок бы. Да и шуму бы поднял, хотя если ранним утром, когда уже почти светло...

– А что, рано ли у вас встают?

– Да бабы встают-то рано, – по-мужски презрительно отвечал тот из внучат, кому не полюбились дедовы духовные песнопения. – Коров в стадо проводить, завтрак готовить. У нас поварня-то на огороде, они как начнут взад-вперед бегать...

Похоже, это был старший, Матюшка, потому что старшему и положено пораньше ощутить себя взрослым мужиком...

– От пожара бережетесь? – усмехнулся Стенька.

Поварня на огороде – это было разумно, такую можно топить хоть каждый день, а той, что в доме, летом прямо хоть амбарный замок на устье вешай, не то решеточный сторож дым из трубы заметит да десятскому своему донесет, изворачивайся потом...

– Бережемся, поди. А тебе чего надо-то?

Прямой этот вопрос Стеньку озадачил. Не объяснять же младенцу, что медвежья харя для чего-то убийцам понадобилась! А коли про это не сказать, то все расспросы смысл теряют. Ну, пропал кусок дерева – и пропал, туда ему и дорога.

– Да вот, думал я, кому и для чего та харя могла пригодиться. Дедушка Савватей ее потехи ради резал – это понятно. А тот, кто уволок? Ему-то зачем?

– Зачем? – Внучата переглянулись.

– Ну, на что ее употребить можно? Вот вы оба – вам бы она пригодилась?

– Пригодилась! – едва ли не хором завопили парнишки.

– А как?

– А мы уж придумали! Мы бы шубу взяли, вывернули! Мы бы ее – на палку! И ворот бы вздернули! И харя оттуда – ух! А-р-р-р!!! Р-р-ры!!!

До Стеньки дошло – эти двое уже приценивались к деревянной харе, чтобы совместно изобразить медведя, засесть где-нибудь в кустах и, выскочив, насмерть перепугать каких-нибудь глупых баб и девок.

Неужто и впрямь – скоморохи?

С одной стороны, вроде бы все и сходилось. Коли скоморохи – так они и прокрались незаметно, потому что уж десять лет, как на Москве им бывать не велено. Но, с другой стороны, для чего им харя, да еще из цельного куска, которую на голову не натянешь, когда у них и живые плясовые медведи водятся? Опять же, они – мастера хари из бересты делать, с льняной куделью, с ключьями меха.

Стеньке очень понравилась мысль о скоморохах. Он крутил ее так и этак, пока не прирастил к ней очень разумное обоснование.

Сам-то скоморох на Москву может забрести, у него на лбу про ремесло не написано, а вот медведя приводить уже опасно. Если на каком богатом дворе и живет для потехи цепной медведь, то его оттуда не выпускают. Стало быть, те скоморохи, которые все же тайно сюда пробираются и устраивают представления, должны как-то исхитряться... Береста – великое дело, да только резная харя как-то правдоподобнее. И ведь неизвестно, какой ее делал дед! Может, и вовсе – полой изнутри!

С этим предположением Стенька наутро отправился к Деревнину.

Земский приказ еще был заперт. Понемногу сходились подьячие и ярыжки, кулаками и локтями прокладывая дорогу через шумную толпу ожидающих. Стенька, осознавая свою немалую причастность к государственным делам, пробивался беззастенчиво, ругаясь и пихаясь почище всех прочих. Одного мужика так даже чуть с крыльца не скинул.

Постучал в дверь, крикнул «Свой!». Дверь, заложённая от не разумеющих времени дураков хорошим засовом, приоткрылась как раз, чтобы молодцу протиснуться, и Стенька оказался в родном приказе. Там уже был и дородный Протасьев, и Емельян Колесников, и прочие подьячие, и кое-кто из ярыжек.

Доставались и выкладывались на столы стопки рыхловатой голландской бумаги. Писцы кроме простых чернильниц ставили и другие, с красными чернилами для заглавных букв. Проверялись на глазок заточенные перья, а тот, кто все свои извел, готовил новые – и подрезал ножичком, и наносил разрез, и подскребал где надобно. Служилый люд переговаривался негромко – в начале трудового дня еще никто ни на кого не злился.

Стенька прошел к Деревнину и пересказал ему все разговоры на дворе у Морковых.

Подьячий выслушал внимательно.

– А это и впрямь хвостик! – одобрил он. – Скоморохи с дедом срядились по весне и ушли. Дед был совсем тухлявый, и в церковь-то нечасто выбирался. Харю же унес тот, кто по крайней мере знал, что она у деда имеется!

– Твоя правда! – воскликнул Стенька.

– Кто мог знать, что у него уже почти готовая харя имеется? И рассказать об этом вору? – продолжал рассуждение Деревнин. – Домашние? Да им и не к лицу посторонним людям рассказывать про дедово баловство... Ровесники, с кем дед в церкви обедни стаивал? Так они услышат, а через минуту и забудут. Я старцев знаю, особенно тех, что еще от поляков Москву вычищали! Они тебе про те времена все припомнят, а как внуков зовут – это уже в голове не помещается. Стало быть, о харе мог знать только тот, кто с дедом срядился. Или скоморох, или я уж не знаю кто! И от того человека о ней проведал вор.

– Гаврила Михайлович! А что, коли скоморохи сами и унесли? Они, видать, у деда в гостях бывали. Не захотели платить – взяли да и унесли!

– И это возможно! Да только для чего им ту харю к дереву приколачивать? Она же им для дела нужна была. Нет, Степа, нужно искать того, кто с дедом о харе сговорился, и его уже допытывать – кому про ту харю рассказал!

Стенька крепко почесал в затылке.

– Решеточных сторожей разве опросить? – предложил он. – Они за порядком хоть и худо, а следят. Может, примечали, в котором дворе скоморохов привечают?

– И верно, – согласился подьячий. – Кабы посадские не привечали, так этого добра бы на Москве и не водилось. Ну-ка... А ведь ты разумное слово молвил, Степа! Гляжу, и впрямь быть тебе подьячим! Как с грамотой-то?

Доброе слово всякому приятно, а уж земскому ярыжке, который его нечасто слышит, тем паче.

– Читаю скоро, – похвалился Стенька. – Пишу пока не шибко... Кляксы проклятые так и шлепаются...

– А образчика нету, как пишешь? – полюбопытствовал Гаврила Михайлович.

Стенька только руками развел – кто ж знал, что понадобится?

Деревнин повернулся к Семену Алексеевичу Протасьеву.

– Нет ли у тебя маловажной бумаги переписать?

– У меня есть! – подал голос молодой подьячий, Аникей Давыдов, которого перевели из Разрядного приказа. – Вот столбец. Сам собирался, да уж пусть Степан Иванович перо испытает!

Стенька покосился на шустрого парня. Не то чтобы Аникей был плох, сварлив, ябедлив, а просто занял он то место, на которое зарился Стенька.

– Садись, пиши! – велел Деревнин. – А я по дельцу одному отойду, пока народ не понабежал.

Аникей освободил для Стеньки угол стола, дал свое перо, хорошо очиненное, свою чернильницу, и даже не оборотную сторону испорченного листа, а совсем новенький!

– Ты линуешь или уже так можешь? – спросил.

Стыдно было признаться, что без линии строка уходит куда-то вверх, но Стенька решил соврать в надежде на пресловутый русский авось.

– Линии нам ни к чему.

– Ну, пиши.

– Это судный список, что ли? – взглянув на самое начало столбца, определил Стенька.

– Ага, – кивнул Аникей.

Стенька сунул перо в чернильницу, вынул, дал стечь капле и, занеся орудие над бумагой, прочел, шевеля губами:

– В лето сто шестьдесят шесть...

Тут же он записал сказанное и вновь уставился в столбец.

– В большом озере Ростовском... съезжались...

Аникей дал знак рукой, и оба пожилых подьячих, Протасьев с Колесниковым, обсуждавшие сытные свои обеды, замолчали и, чуя некую пресмешную каверзу, стали наблюдать за Стенькой.

– ...в большом озере Ростовском... – совершенно не вдумываясь в смысл и стараясь лишь выводить буквы с возможно более нарядными росчерками, продолжал читать и писать Стенька. – ... съезжались судьи трех городов... Имена судьям... Белуга Ярославская, Семга Переяславская, боярин и воевода Осетр Хвалынского моря... окольничий был Сом, больших Волжских краев... судные мужики – Судак да...

Тут до земского ярыжки понемногу стало доходить, что он занимается какой-то несуразницей.

– ...да Щука-трепетуха... – вслух и довольно громко прочитал Стенька. Прочитал и изумился – какая, к черту, щука?!?

Юный подьячий Аникей Давыдов уже всю давился смехом.

– Ты чем это тут занимаешься? – сурово спросил Протасьев и забрал со стола столбец. Пришурившись, он внятно прочел:

– «Жильцы Ростовского озера, Лещ да Голавль, били челом на Ерша, на щетину, по челобитной. А в челобитной той было писано...» Аникушка! Ты это где взял? У деда в сундуке откопал?

Емельян Колесников забрал у Семена Алексеевича столбец и, пробежав глазами, расхохотался.

– Гляди! Этого – не было! Я, говорит, не гожусь в понятия! Брюхо, говорит, у меня велико, я ходить не могу, а глаза у меня малы, далеко не вижу, а губы у меня толстые – перед добрыми людьми говорить не умею!

– Эта рыба челобитная, свет, уже почитай что сто лет в нашем приказе обитает! – сказал Протасьев. – Я еще парнишкой был, а ее уже списывали. Стыдно, Аникушка, такой старой рухлядью добрым людям головы морочить. Вот кабы ты что новенькое приволок!

– Нет, свет, ты послушай! – не унимался Колесников. – И этого не было! «А тот Ерш-щетина лихой человек, поклепщик бедовый, обманщик, воришко-ябедник, а живет по рекам и по озерам на дне, а свету мало к нему бывает, он аки змея из-под кустов глядит!» Гаврила Михайлович, да это же точь-в-точь наши площадные подьячие! Чисто ерши! Поклепщики и ябедники, аки змеи из-под кустов глядят! Про них это сочинили! Как они на Ивановской площади выглядывают, кто в них нуждался бы!

– Грехи наши тяжкие... – вздохнул Протасьев и перекрестился на образа. – Ты, Аникушка, еще их трудов не видывал. Вранье прежалостное! А всего краше, как две челобитные перехлестнутся, такими ябедниками писанные. Дела-то там на грош, а они, подлецы, прямо тут, у нашего крыльца, друг дружке в бороды вцепятся, волосьев-то выдерут на алтын!

Забывший Стенька сидел красный, как рак. Вроде и не зло подшутил над ним Аникей, вроде даже и не подшутил, а действительно хотел иметь свой список рыбацей челобитной, однако было на душе скверно. Стенька воткнул перо в чернильницу и встал из-за стола.

Аникей посмотрел свысока на его писанье.

– Немало тебе, свет, еще бумаги извести придется, – заметил он. – А хочешь, я тебе порченые листы отдавать стану? Вон стопу недавно раскрыли, а там листов шесть без одного угла оказалось. Я их думал себе забрать, а могу и тебе подарить.

– Не надобно, – буркнул Стенька.

И напрасно – батюшка Кондрат уже требовал, чтобы ученик сам снабжал себя письменным прикладом.

В приказную избу быстрым шагом вошел Деревнин.

– К дьяку ходил, – весомо сказал Гаврила Михайлович. – Дьяк велел всех воротных сторожей опросить и дознаться, есть ли сейчас на Москве хоть один скоморох. Мирон, Елизаушка, Захарка, Степа – слышали?

Стенька присоединился к нестройному хору отвечавших.

– К вечеру чтобы всех обошли!

Ловок был Деревнин! Кто про скоморохов мысль подал? Стенька! А кто эту мысль как свою дьяку преподнес? То-то...

Земским ярыжкам не впервой было оббегать воротных сторожей со своими расспросами, и каждый уж знал, куда ему двигаться и какими улицами идти, чтобы покорооче путь вышел.

Стенька, поскольку жил на краю Стрелецкой слободы в Замоскворечье, те места знал лучше и ими обычно занимался. А что? Солнышко светит, вольные птахи в самом Кремле, в верховых садах, распевают, чего ж не пробежаться?

И Стенька честно обошел всех своих знакомцев, выяснив при этом то, что он и до выхода из приказной избы знал: здесь скоморохов не видали. Коли они где и объявятся – так возле богатых дворов, коли где и будут казать свое искусство – так за высокими заборами, а то и в самых хоромах, чтобы подальше от посторонних глаз. А какие хоромы у стрельцов?

Ближе к вечеру он вернулся в приказ, доложил Деревнину о своем розыске и получил в ответ благодушное похлопывание по плечу.

– Я с Ильей Евтихеевым сговорился, из Разбойного приказа, – сказал подьячий. – Москва-то наша, а убит-то купец Горбов на Стромынке, в разбойных палестинах. Так что мы для них зверя выследим, а они в долгу не останутся. Авось когда-либо нас выручат. Сейчас же вот тебе столбец, тут судебный список, отнесешь в Ямской приказ.

И Стенька поспешил в Кремль.

* * *

– Завтра на похороны едем, – сказал Тимофей. – Я у подьячего и у деда отпросился за себя и за тебя. Такое дело – не приедем, добрых людей обидим. Нельзя, когда к тебе с благодарностью, уворачиваться. А они, Горбовы, нас, поди, и в поминанье уже вписали за то, что мы Терентия привезли.

– А ты как догадался, что похороны завтра? – спросил Данилка.

Он с утра наломался по конюшне, потом проезжал лошадей, в том числе и вредного Голована, и вставать назавтра ни свет ни заря, чтобы успеть на похороны, ему вовсе не хотелось. После того, что пришлось пережить, похорон он всеми силами избегал.

– Очень просто. По летнему времени, конечно, лучше на следующий же день похоронить, но у Горбовых погреб с ледником наверное уж есть, с зимы на Москве-реке льда наломают – у многих до самой осени держится! Федор Терентия с честью похоронит. И плакальщиц наймет, и столы поминальные накроет – все как положено. Но для этого время требуется. Приехали мы с дурной вестью в четверг. Всю пятницу будут к похоронам готовиться. А в субботу-то не хоронят! И в воскресенье тоже. Завтра у нас как раз понедельник будет – стало быть, завтра и отпоют. Это только зимой на восьмой день хоронят.

– Теперь ясно.

Данилка не хотел пререкаться с Озорным о своем присутствии на похоронах, однако тот был не дурак.

– Нужно, Данила. Настанет день – и на наше отпеванье люди пойдут, и нас за накрытым столом поминать станут. Нужно, понял? Заодно и Семейку навестим. Мы ж там, на поминках, выпьем, поди! Там-то – сам Бог велел, чтобы земля покойнику была пухом. Спать пойдём на Аргамачьи конюшни. Семейка-то, поди, соскучился без нас.

Данилка пожал плечами, но улыбнулся.

Этот конюх из троицы ему больше всего по душе пришелся. Грубоватый, суровый Тимофей и задира Богдан, может, больше о нем заботились, могли и до подьячего, и до самого дьяка дойти, добиваясь каких-то благ для Данилки. Тихий Семейка же просто был рядом, то словом ободрит, то нужную в деле ухватку покажет, и все без суеты, все – ласково...

Ради Семейки-то и позволил Данилка себя уговорить.

Похороны были обыкновенные. Тимофей, не будучи родственником, на видное место ни в церкви при отпевании, ни на кладбище не лез. За поминальный стол их с Данилкой усадили поближе к Федору Афанасьевичу с Федотом, и купец при всех отметил благодеяние обоих конюхов.

Некоторое время спустя Данилка догадался наконец, зачем это он Озорному в Москве понадобился. Тимофей попросту напился. Да и непристойно было на поминках оставаться трезвому. Озорной соблюдал обычай до такой степени, что заснул рожей в миске с квашеной капустой. Данилка на миг лишь один отвернулся, а этот уж и примостился! Изумившись, Данилка извлек из капусты спящего товарища и поволок его от стола прочь. Сам он выпил ровно столько, чтобы все видели – угощением не брезгует.

Потом он имел немалую мороку – доставить товарища в Аргамачьи конюшни. Данилка, конечно же, нанял извозчика, и тот помог взгромоздить на тележку увесистого Тимофея, но въезжать в самый Кремль Боровицкими воротами ни один извозчик не имел права, да там же еще и дорога круто подымается вверх! Взмок Данилка, покуда сдал Озорного с рук на руки Семейке, а тот уложил поминальщика на сеновале.

– Неужто трезвый? – спросил, принюхиваясь к Данилке, Семейка.

– Какое там!

– Не умеешь ты пить. А надо бы научиться.

– Чтобы и меня поперек телеги домой привозили?

Семейка тихонько рассмеялся.

– Ложись-ка, – посоветовал.

Данилка и лег.

Проснулся он, конечно, не к самой первой утренней трапезе, перехватке, а уже к полднику. Семейка припас для него хлеба, нарезал сала и луковицу, налил кваса – чем плохо? Вздумали было разбудить Тимофея, да отступились. Храпел Озорной так, что заслушаешься.

– Вот те раз! – огорчился Данилка. – Нам же в Коломенское возвращаться! Как раз он нас под батоги подведет!

– Не тронь его, – посоветовал Семейка. – Сходи-ка лучше умойся как следует. А то и ты бывальым питухом глядишь.

Данилка долго плескал в рожу холодной водой. И даже до того додумался, что коли Тимофей добром не проснется, быть ему мокрому с головы до ног. Батоги за послушанье – это было такое лакомство, без которого Данилка вполне бы обошелся. Но до крайних мер дело не дошло.

– Данила, поди сюда! – позвал Семейка из шорной. Он там сидел на коробе, скрестив ноги, и чинил подпругу.

Свежеумытый Данилка вошел.

– Я сегодня потеху посмотреть иду, – сказал Семейка. – Купец у меня знакомый есть, в гости позвал. Говорит, если кого из товарищей с собой возьмешь, то и ладно, лишь бы языком не трепал.

– А что за потеха? – удивленно спросил Данилка.

– А скоморохи. Придут к тому купцу в сад потешить самого, и женку, и детишек.

– Неужто не бояться на Москву приходить? – удивился Данилка, слыхивавший, что более десяти лет назад всех скоморохов по цареву указу из Москвы выбили вон, и со всеми их гуделками да харями, и с плясовыми медведями.

– Черта ли они испугаются! Которые пугливые, те на север подались, – отвечал Семейка. – А иные так на Москве жить и остались. Только без лишнего шума. Захочет какой человек семью потешить – они и приходят в сад или, по зимнему времени, в сарай, или в подклет, или даже иных в горнице привечают.

– И медведя в горницу ведут? – обрадовался было Данилка.

– Ведут, ведут! – обнадежил Семейка и, завязав узел, откусил нитку. – И с боярыней спать укладывают. Так что же – пойдешь?

После того как Богдан Желвак, Тимофей Озорной и Семейка Амосов взяли Данилку под свою опеку, он понял, что жить на Москве не так тоскливо, как сперва ему показалось.

Из Аргамачьих конюшен он мог наблюдать, кроме спешащего по делам народа, лишь богомольцев. Когда в праздничный день Москва гудела от колоколов, он представлял, как все эти люди, от царя до мальчишки, что бегают по торгу с лукошком пирогов, идут степенно в храмы, и выстаивают там службы по шесть часов, и выходят, и обедают дома, и читают за столом что-нибудь про святых и мучеников, и вновь идут стоять в церкви, и ничего, кроме этого знать не знают и не желают.

Оказалось же, что все совсем не так.

Хотя книжки на Печатном дворе, что на Никольской, выпускали только божественного содержания, да еще буквари для детей, во всех домах были и самодельные тетрадки, и рукописные книги, порой весьма скромные, которыми менялись, давали на время, даже дарили. Разжиться рукописной книгой было несложно даже не выходя из Кремля – коли не хочешь заказать переписать у монахов в Чудовой обители, то в Посольском приказе договорись с писцом. А потом собери в горнице близких да вели читать человеку, кто этому делу навычен.

После государевых польских походов оказалось, что и за пределами Москвы люди неплохо живут. Из Смоленска, из Литвы, с Украины повезли в Москву мебель, картины, книги, и первым в этом деле был сам государь Алексей Михайлович. А те пленные, что не только разговаривали, но и умели складно писать по-польски, разумели, как положено католикам, латынь, прижились в домах у знати, учили детей, в том числе и вирши слагать. Правда, иным и перекреститься пришлось, не без этого...

Кроме того, Москва любила шахматы. Эту забаву сам государь одобрял. В редком доме, хозяин которого считал себя человеком почтенным, не было доски и мешка с фигурами, иные попадались дорогие – каменные, на серебряных или даже золоченых донцах.

И вот, на тебе, скоморохи!

– Пойду, конечно! – радостно отвечал Данилка. – А это надолго?

– Нет, ненадолго. Как раз успеешь отобедать да и поедете с Тимофеем в Коломенское.

– Что ж его не зовешь? – Данилка понадеялся было, что хоть таким образом удастся разбудить Озорного, да промахнулся.

– А у него опять мысли божественные, – объяснил Семейка. – Раза два или три в году с ним такое бывает. Как-то перепугал нас с Желваком – в пустынь задумал уйти, жить в малой хижинке и молчать. И непременно чтобы медведь из чащобы приходил у него из рук хлебную корочку брать. Так складно толковал – мы заслушались. Потом только Богдаш додумался! Ты, говорит, на себя погляди! Ты, говорит, припомни, сколько за обедом уминаешь! Поголодаешь ты в лесу недельки две и обратно к людям приползешь. Уж лучше не начинать, чем так-то позориться. И Господь, говорит, только тот крест на человека взвалит, который нести под силу. А ты что же – умнее Господа быть задумал?

Данилка вспомнил, как Тимофей стоял в Троице раннюю обедню, а также переговоры Озорного с братом Кукшей. Монастырю заполучить такого инока было бы неплохо – глотка здорovenная, как раз в дьяконы со временем определяют, и работник не слабый.

– Стало быть, у него как раз теперь такое время? – уточнил парень, сделав при этом в памяти зарубочку, что за Озорным нужен присмотр.

– Да, свет. Одно спасенье – когда попы про Тимофея вспомнят и в дьяконы его принимают звать, ему больше на конюшнях жить охота, а как они от него отстанут, рукой на него махнут, тут в нем тяга-то к святости и просыпается, да только идти на попятный неловко...

Семейка сложил работу, приладил седло вместе с подпругой на положенный ему торчок в стене, одернул рубаху и всем видом показал, что готов в дорогу.

Они вышли Спасскими воротами и пошли, и пошли, беседуя о пустяках, а когда прибыли, то и оказалось, что двор Данилке знаком. Это были хоромы купца Белянина.

Семейка постучал, привратник отозвался.

– Хозяин в гости просил, – сказал Семейка. – Скажи – стряпчий конюх Семен Амосов с Аргамачьих конюшен пришел, и с товарищем.

– Входи скорее! – велел привратник.

Данилка с Семейкой оказались во дворе, и сразу же за ними закрылась калитка.

– Вон туда иди, за угол и направо, – объяснил привратник.

– Богато живут, – одобрил купеческое хозяйство Данилка. – Славный у тебя знакомец.

И всем видом дал понять, что не прочь услышать, как конюх таким знакомцем обзавелся. Семейка понял.

– Было дело – далече от Москвы я хозяина встретил. Мне возвращаться нужно было, он взмолился – со своими грамотками и его письмецо быстро отвезти. Не то, мол, погибнет. Мнечто что, я и государеву службу исполнил и ему помог. Привез письмецо, отдал кому велено, ни гроша не получил, ну и поехал прочь. А потом он вернулся, меня отыскал, в ноги кланялся, прощенья за свою родню просил. Я к нему в лавки и захождать уж боюсь – он сидельцам велел меня как отца родного принимать.

Они вышли на задний двор, и Семейка прервал рассказ.

Там уж все было готово к представлению. Место выбрали удачно – зрители расположились в тени от терема, площадка для скоморохов была на свету, там, где уже начинался сад. Высокое крыльцо заняли бабы и девки, впереди сидела хозяйка с детишками. Хозяин велел вынести себе кресло. Он уже восседал, расставив крепкие ноги, упираясь в колени кулаками. Дворня стояла за его спиной. Семейка с Данилкой подошли и стали вместе со всеми, чуть сбоку.

Видно было, как за кустами смородины готовились тешить хозяев скоморохи.

– И девки-плясицы будут, – пообещал Семейка. – И гудошники!

– А медведи?

Уж кого Данилке не терпелось увидеть, так это плясового медведя.

– Тихо ты... – прошептал Семейка. – Гляди, гляди!

Из-за кустов появились трое – два в рубахах и портах, с которых свисали цветные лоскутья, в шапках, утыканых перьями, ветками и непонятно чем еще, с личинами из расписанной бересты, имеющими выдающийся нос и пакляную бороду, третий же – в рубахе без лоскутьев, при своей роже и своей бороде, но, начиная от пояса, был на нем холщовый балахон, понизу топорщащийся, а на самом поясе болтались какие-то с кулак величиной рожицы. Он встал в сторонке, всем видом показывая, что и до него дело дойдет.

Один из тех, что с берестяной харей, высокий, плечистый, шагнул вперед и низко поклонился купцу Белянину.

– Дай Боже здоровья на много лет хозяину с хозяйшкой, и деткам, и всему дому, а нам, веселым – вас, умных, потешить, в вашу честь – да пирог с капустой съесть!

– Будет вам пирог, будет, – отозвался купец. – Коли славно потешите!

– А что, хозяин, все ли у тебя в дому парни женаты? Нет ли холостого? – подходя поближе, полюбопытствовал скоморох. – Вон, вон стоит – не просватали ль еще?

И указал надетой на руку, невзирая на летнее время, преогромной рукавицей прямоком на Данилку.

– Ишь, высмотрел!.. – прошипел Семейка.

Данилка же окаменел – отродясь его скоморохи женить не пытались, и потому, будучи ухвачен за руку, позволил вывести себя на общее посмешище.

Купец кинул сердитый взгляд на пожилого мужика, стоявшего рядом, надо думать – приказчика, но тот, судорожно разводя руками, дал понять – мол, сам не ведаю, отколе этот детина взялся!

– Есть у меня для тебя, молодец, невеста, свет-Хавроньюшка любезна! Моя родная дочка, из себя кругла, как бочка! Богатенькая – ух! Бери – не пожалеешь! – уже не обычным, каким приветствовал хозяев, а каким-то дурным и избыточно веселым голосом завопил скоморох. – Добра у нее – полтора двора крестьянских промеж Лебедяни, на Старой Рязани, не доезжая Казани, где пьяных вязали!

– Меж неба и земли, поверху леса и воды! – подхватил таким же пронзительным звоном второй скоморох. – И живут там три бабы, что разумом слабы, четыре человека в бегах, да трое – в бедах! Ий-й-й!..

С таким нечеловеческим криком он выскочил вперед и довольно ловко прошелся колесом, потом шлепнулся на зад, ноги растопырил, уперся руками перед собой и снова взвизгнул.

Купеческая дворня захохотала – до того это все вышло неожиданно.

Две девки-плясицы в летниках и рубахах с рукавами неслыханной длины и ширины, вышли из-за кустов, улыбаясь. Были они в высоких берестяных кокошниках и так нарумянены свекольным соком, что и смотреть было жутковато.

– А хоромного строения – два столба в землю вбито, третьим прикрыто! – продолжал сват, решительно вцепляясь Данилке в руку, чтобы жених не удрал. – Труба еловая, печка сосновая, заслонка не благословенная – гли-ня-на-я!!!

Уж так он это слово выпел – листва на яблоньках шелохнулась, а бабы с девками немедленно заткнули уши.

– Четверо ворот – и все в огород! – звонким юным голосом подсobil переводящему дух товарищу так и оставшийся сидеть на земле скоморох. – А в амбарах пять окороков капустных да десять пудов каменного масла! Да две кошки дойных, да два ворона гончих!..

Тут плясицы зачем-то подошли еще ближе и одна поднесла ко рту ширинку. Величиной та ширинка была мало чем поменьше простыни.

– Да на тех же дворах конюшня, в ней четыре журавля стоялых, один конь гнед, а шерсти на нем нет! – словно вспомнив, заголосил сват. – Передом сечет, а задом волочет! Рогатого скота – петух да курица, а медной посуды – крест да пуговица!

Про коня он выпел, явственно обращаясь к Данилке.

– Перина ежового пуха, разбивают каждое утро в три обуха! – пронзительно подсказал снизу сидящий скоморох. – Два ухвата да четыре поганых ушата! Шуба из кошачьего меху – объели крысы для смеху! Воротник – енот, тот, что лает у ворот! Еще шуба соболья, а другая – сомовья, крыто сосновою корой, кора снимана в Филиппов пост, подымя хвост! Серьги серебряные, позолоченные, медью околотенные!

Дальше он продолжать не мог – да и незачем было, все равно никто бы уж ничего не слышал и не понял.

Купец с купчихой в своих креслицах уж прямо сидеть не могли – чуть ли не рыдали. Девки и бабы, окружавшие купчиху, еще стеснялись громко хохотать – прикрывали рты ширинками. Но вот молодцы, вся мужская челядь, ржали как жеребцы стоялые, хлопая себя по ляжкам.

– А повенчаем мы вас Великим постом, да под Воскресенским мостом, где меня бабушка крестила, на всю зиму в прорубь опустила! – перекрывая хохот, завопил стоящий скоморох. – Лед-то раздался, а я такой чудной и остался!

И бойко захлопал себя по бокам, по груди, даже, задирая ноги, по самым подошвам! И пошел, пошел, частя ногами, пришлепывая ладонями!

– А придут на свадьбу курица да кошка, пономарь Ермошка, лесная лисица да старого попа кобылица! – подсobil сидящий скоморох, да вдруг приподнял над землей зад да и запрыгал лягушкой на одних руках.

Зрители от изумления и смеяться забыли.

– Хозяин, хлебушка! – завизжал, оказавшись у самых купеческих колен, скоморох-лягушка.

– Да будет тебе, будет!.. – Купец утирал кулаком невольные слезы.

Плясавший скоморох резко остановился и погрозил товарищу кулаком.

– Не проси, Филатка! Знаю я, как тут хлебы пекут! – дерзко заявил скоморох. – Сверху подгорели, снизу подопрели, по краям тесто, а в середине пресно! Пирог с начинкой, с телячьей овчинкой, с собачьей требухой – ишь, какой! А жареного у вас – бычьи рога да комарина нога! И варят у вас суп из двенадцати круп, складут две ноги лосины да две лошадины, да две пропадины. Хлебнешь – и ногами лягнешь! Стой, куда?!?

Это относилось к Данилке, который, видя, что о нем вроде бы позабыли, попытался улизнуть. Но парень был схвачен за руку и выброшен вперед, навстречу размалеванным девкам.

Они подтолкнули друг дружку локотками – да и взвизгнули, словно бы отправлялись в полет на саночках с высокой горки.

Тут же скоморох-лягушка, непонятно откуда добыв дудку, сел наземь и переливчато засвистел.

– Я не в Киев пошел, я не в Астрахань пошел, я не пенье ломать, не коренье корчевать, я невесту выбирать! – запела голосистая девка, не давая Данилке дороги, и тут же к ней присоединилась подружка: – Без белил девка бела, без румянцу румяна, то невеста моя!

И пошли они по кругу, поводя плечами, взмахивая рукавами, и такой ширины был этот круг, что веселые девки проплыли прямо впритирочку к возбужденным мужикам и парням, иного мазнув по носу, иному – показав язык...

– Молчите, дуры! – велел им главный скоморох. – Я жениха уговариваю! У меня, свет, в Охотном ряду лавки стоят – по правой стороне это не мои, а по левой вовсе чужие. Был и я купцом, торговал кирпичом и остался ни при чем. Теперь живу день на воде, день на дровах, и камень в головах. А ты, батюшка мой, чем торгуешь?

– А красным товаром, – принимая игру, отвечал Белянин. – Не хочешь ли чего купить?

– У меня и своего товара богато! – подбоченился скоморох. – Три опашня сукна мимо-зеленого, драно по три напасти локоть, да крашенинные сапоги, да ежовая шапка, да четыреста зерен зеленого жемчугу, да ожерелье пристяжное, в три молота стегано, да восемь перстней железных, камня в них лалы, из Неглинной брали, телогрея мимокамчатая, кружево бере-стяное...

И вдруг встал, прислушиваясь.

Опытным ухом он первый уловил тревогу.

– Дёру! – только и приказал.

И тут же его сотоварищи принялись срывать с себя личины, скоморошьи пестрые наряды, девки сдернули берестяные кокошники, под которыми оказался обычный девичий убор – повязки со свисающими концами. Скоморох-кукольник освободился от своего балахона вместе с прицепленными к поясу кукольными головками и ловко все это смотал.

Купеческое семейство вместе с дворней смотрело на стремительные сборы, разинув рты и выпучив глаза.

– Хозяин! – обратился к купцу главный скоморох. – Вели нас вывести огородами, а не то – так спрятать надежно! Это – по наши души!

И тут же всем стали слышны голоса с улицы.

Земские ярыжки, приставы, стрелецкий караул – не менее дюжины мужиков шли вязать скоморошью ватагу.

Ничего удивительного в этом не было – по опросу решеточных сторожей выяснилось, где именно видели скоморохов, да на каком дворе они собирались тешить хозяев. И затея подьячего Деревнина, подсказанная Стенькой, оказалась не пустячной, а очень даже разумной. Скоморохи, знали они что-либо о заказчике медвежьей хари или не знали, были такой добычей, за какую Земский приказ сверху хвалили.

От внезапных и очень решительных голосов Лукьян Романович не то чтобы растерялся, купцу теряться не положено, однако мудрая мысль о том, куда спрятать скоморохов, напрочь из головы взяла да и вылетела.

В общем обалдении один лишь человек не растерялся.

Семейка мгновенно оказался перед Беляниным и спросил коротко:

– Садам уйти можно?

– Садам, садам! – подтвердил купец.

Тогда Семейка схватил за руку одну из девок, а другой рукой хорошенько потрянул за плечо стоявшего у купеческого кресла приказчика.

– Показывай дорогу!

И третье, что он вымолвил, как всегда, негромко, обращалось и к Данилке, и к прочим скоморохам:

– За мной!

Приказчик, получивший от конюха еще и хорошего пинка, припустил по садовой дорожке, меж кустов. Семейка, таща за собой девку-плясицу, – следом. За ними поспешали главный скоморох, скоморох-лягушка и кукольник. Замыкала бегство вторая девка, а уж за ней бежал Данилка.

Откуда он знал, что слабых помещают в середку, а сильные должны идти впереди и прикрывать хвост войска, ему самому было непонятно.

Миновали лужайку, где было приготовлено все для девичьего баловства – и лавочки, и всякие качели с мягким сиденьем, обтянутым холстинкой, и качели прыгучие – такие, на которых малые дети катаются сидя, а те, кто постарше, уж стоя, подпрыгивая при всяком вознесении к небесам.

Эти прыгучие качели были просты в изготовлении – положенный на бок и малость подрубленный топором, чтобы не гулял, чурбан, а поперек него – длинная доска.

– Данила, доску прихвати! – велел, обернувшись на бегу, Семейка.

Данилка, не раздумывая, разорил качели. Девка подхватила добычу за один край. Так нести было не в пример легче.

Когда добежали до забора, стало ясно, для чего понадобилась доска. Семейка и купеческий приказчик так ловко вбили ее краем в щель между досок забора, что можно было по ней взбежать и запросто перепрыгнуть на ту сторону, прямо в соседский сад. Выбирать не приходилось – сам Семейка и опробовал изобретение первым.

Тут-то и оказалось, что служилые люди Земского приказа горазды на всякие пакости.

Пока одни ломились на белянинский двор через ворота, поднимая шум и всуе поминая государя, другие сели по разным местам в засаду, в том числе и под забором соседского сада. Так что Семейка не просто соскочил вниз, а угодил верхом на человека, который торчал там, внизу, на корточках.

Началась схватка того рода, который знатоки кулачного боя именуют сцепляшкой. То есть, противники немедленно разбиваются попарно, и тут уж на себя лишь и надейся!

Семейка, покотившись вместе с оседланным им приставом, успел крикнуть про засаду, но скоморохам выбирать не приходилось – главный взбежал и соскочил прямехонько на другого пристава. Скоморох-лягушка оказался хитрее – прижался к забору и прочим подал знак сделать то же самое. Засада, наскоро подивившись тому, что беглецов всего двое, решила было сунуться в белянинский сад. Но, как только над забором появилась любознательная бородатая рожа, так сразу и получила кулаком в ухо. Удар нанес пожилой кукольник, а скоморох-лягушка без всякой доски перемахнул на ту сторону и сразу же нашел себе противника.

Кукольник отправился воевать последним, но не с пустыми руками. Купеческий садовник иные кусты подвязал к кольям. Такой-то кол и высмотрел этот пожилой, да шустрый мужик, с ним и поспешил на выручку товарищам. Сверток со скоморошьими пожитками он бросил одной из девок, та подхватила и сунула себе под мышку.

Приказчик, слыша из-за забора шум яростной возни, махнул рукой и помчался назад – к хозяину, чтобы его, Боже упаси, служилые люди не приметили как участника бегства.

Данилка остался у забора с девками.

Он глядел на них в растерянности и отчаянии. Ну, куда этих дур девать?... Через забор в самое побоище? Или пусть ждут, пока их тут приставы со стрельцами отыщут?

– Данилушка! – вдруг позвала его одна из девок, та, что убежала с ним рядом. – А ведь ты не признал меня, Данилушка! Федосьца я!

Данилка уставился на нее, как на нечистую силу.

Почитай что полгода прошло с той разлюбезной ночки, когда его заманили на тайные крестины и, не спросясь, сделали крестным отцом младенца Феденьки. Теперь же мать этого Феденьки, и точно что неузнаваемая под свекольным румянцем во всю щеку, смотрела на Данилку и, несмотря на опасность, улыбалась!

– Сюда, девки, скорее! – позвал старший скоморох.

Федосьица, подхватив полы алого летника, ступила на доску, быстро сделала два шага, нагнулась, ухватилась за край забора – и тут летник, взлетев ввысь, распахнулся, открыв белые крепкие ноги.

Самое место и время было девичьими ногами любоваться!

Но Федосьица уже соскочила по ту сторону забора, принятая в охапку кем-то из своих, а Данилка еще смотрел на то место, где те ноги мелькнуть изволили.

Вторая девка поспешила следом.

– Данила! Живо! – слышался Семейкин голос.

Тогда и Данилка переправился через забор.

Семейка, его позвавший, сидел на корточках, коленом прижимая к земле противника. Тот, лежа на животе, елозил и скреб ногами. Конюх так хорошо держал его за глотку, что ни звука из той глотки не исходило.

Это был пристав, а двое немолодых стрельцов отдыхали на траве без памяти. Четвертый, также пристав, сидел на земле, привалясь к забору, и держался за щеку, а рядом лежали гусли.

– Уходить надо, – сказал старший скоморох. – Где это мы?

Приглашая ватагу – потешить себя и чад с домочадцами, купец Белянин позабыл рассказать о своих соседях. Судя по тому, что сад был не маленький и виднелись над кронами яблонь крыши теремов, изукрашенные красивой резьбой, сосед вряд ли побирался на паперти. И наверняка имел злых цепных кобелей – к счастью, по дневному времени они сидели на привязи.

– Где-где! – передразнил кукольник и добавил известное определение. – Побежим вдоль забора, может, хоть не на улицу, а в переулочек выскочить удастся!

Семейка кивнул, отскочил от своего пленника и оказался рядом со скоморохами. Тот перевернулся на спину и разинул было рот...

– Вот только заори мне, – сказал Семейка, показывая приставу прихваченную у него же дубинку. – Вот только заори – мозги с травки соскребать будешь.

– А-а... – только и смог вымолвить пристав.

– Вставай, дурак. С нами пойдешь.

– Нужен он тебе больно? – спросил старший скоморох Семейку.

– На два шага отойдем – шум подымет.

– Давай его сюда!

Таща за шиворот обалдевшего пристава, скоморох поспешил вдоль забора, Семейка с дубинкой и скоморох-кукольник с колом – следом. Потом девки, к драке не пригодные, несли скоморошьё имущество, а за ними бежали Данилка и скоморох-лягушка.

Сад кончился, ватага влетела как раз в угол, образованный забором. По ту сторону справа была улица, а слева – желанный переулочек. Ватага поспешила в глубь переулочка, чтобы своими прыжками через забор привлечь поменьше внимания.

Семейка первым подозвал к себе Данилку, присел и подал ему сложенные замком ладони. Данилка поставил, как в стремя, левую ногу, Семейка выпрямился – и Данилка оказался на заборе верхом. Он посмотрел направо и налево. Со стороны улицы никто его не заметил, хотя люди в створе переулочка и мелькали, а с другой стороны было что-то вроде церковной, а может, и кладбищенской ограды.

Данилка кивнул Семейке – мол, все ладно! – ухватился за край забора, перенес на другую сторону и левую ногу, соскочил – вроде тихо...

– Девочек подавай! – весело приказал он.

Хоть и жутко, однако сладко – схватить в охапку белоногую Федосьицу, как бы нечаянно прижать!..

Первой переправили другую девочку, Дуню, и в этом было Данилкино везение – девочка соскакивала лицом к забору, поди ее толком прижми! А вот когда появилась Федосьица, тогда уж Данилка знал, как быть – заскочил сбоку, принял ее почти в объятия, но только оба чуть не полетели наземь...

– Дурак! Сторожить же надо! – одернула его Федосьица, поправляя подол. – Дуня, стой тут! Сюда, Томила!

Девки, как могли, загородили место, куда прыгали мужчины.

Последним соскочил Семейка. И тут произошло неожиданное – не говоря ни слова, Федосьица решительно обняла его и поцеловала прямо в губы. Он же, нисколько не удивившись, так же молча похлопал ее по спине.

– А пристав где? – спросил Данилка.

– Отдыхает, – коротко отвечал скоморох-кукольник.

– Но сейчас заорет! – добавил скоморох-лягушка.

Выбирать не приходилось. Ватага, и конюхи с ней вместе, поспешила к церковной ограде.

Тут-то и произошла нечаянная и роковая встреча. Из-за угла на Семейку с Данилкой выскочил человек в распахнутом зеленом кафтане с двумя известными буквами на груди – справа «земля», а слева – «юс»!

Семейка каким-то образом проскочил вперед, зато Данилка столкнулся с этим человеком грудь в грудь.

Они узнали друг друга и, как по приказу, разинули рты. Хотя для Данилки не должно было быть ничего удивительного, что в облаве на скоморохов участвует земский ярыжка Стенька Аксентьев. Вот для Стеньки опять в самом неподходящем месте обнаружить Данилку было подарком, и довольно-таки неприятным подарком.

Кабы не эта встреча – Стенька проскочил бы мимо бегущих людей, а опомнился уж потом. Ведь он не видел скоморохов в купеческом саду и не признал бы их в лицо, пестрые одежды-то, накинутые сверх обычных своих рубах и портов, они поскидали. Вот разве что девочек признал бы по свекольному румянцу, а может, и нет – девочки и бабы на Москве красились безбожно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.